

Моня Цацкес – Знаменосец

«Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразительным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических событий, которые ему удалось пережить...»

Ирвин Шоу.

О чем бы ни писал Севела, – о маленьком городе его детства или об огромной Америке его зрелых лет, – его творчество всегда пропитано сладостью русского березового сока, настоящего на стыдливой горечи еврейской слезы.

«Воинское знамя состоит из двухстороннего полотнища алого цвета, древка и шнура с кистями. На одной стороне полотнища, в центре, нашиты серп и молот, по верхнему и нижнему краям полотнища слева: „За нашу Советскую Родину“.

На другой стороне полотнища, в центре, – пятиконечная звезда из шелка. Над звездой золотистым шелком вышиты номер и наименование части».

Из Устава Внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР

Пролог

В простенке между двух окон, забранных железными решетками, стояло полковое знамя. Стояло, упираясь свежепокрашенным в красный цвет древком в пол и прислонившись к стене бронзовой макушкой с пятиконечной звездочкой на острие.

Само знамя из алого бархата с золотыми витыми шнурами и толстыми бахромчатыми кистями было тщательно укрыто от постороннего глаза парусиновым чехлом защитного цвета, и потому этот символ воинской чести, доблести и славы выглядел неподобающе скромно и сиротливо, как большой зонтик, свернутый за ненадобностью.

Но почести ему были возданы, какие полагаются по уставу. Охраняя палку с чехлом, замер часовой с автоматом на груди, в шапке и шинели и густо надраенных гуталином огромных ботинках. Сдвинув пятки и разведя на ширину ружейного приклада тупые носки.

Часовой был ростом невысок, но скроен крепко: что в плечах, что в груди широк, больше чем надо, и потому напоминал куб, чуть вытянутый вверх, или, точнее, железный несгораемый шкаф, где хранились все полковые документы.

На этом шкафу стоял гипсовый бюст генералиссимуса И.В. Сталина, со слоем пыли на плечах и фуражке, и пыль эту не вытирали, боясь уронить и разбить бюст вождя, за что неминуемо упекли бы под военный трибунал.

В отличие от сейфа, кубическое тело часового венчала его собственная голова без шеи, в шапке, надвинутой на самые глаза. Брови у часового были густые и черные и шли от переносицы почти прямо вверх, загибаясь полукружьями, словно обладатель их раз в жизни очень удивился да так и не пришел в себя. А под ними круглые, как у птицы, глазки, живые как ртуть и даже здесь, на скучном посту, бурлящие от неудовлетворенного любопытства.

Одним словом, ничего особенного... если бы не нос. Таких размеров носа во всей шестнадцатой дивизии (а уж эта дивизия во всей славной советской армии отличалась наибольшим скоплением больших носов, потому что почти все ее солдаты и даже офицеры были евреями), не было такого калибра. Нос был мясист и хрящеват, выдавался далеко вперед, затем, сломленный семитской горбинкой, падал мягкой сливой

на самые губы, которые как бы под тяжестью носа прогнулись полумесяцем, концами вверх, отпечатав навечно улыбку на лице часового. Удивленную улыбку, если учесть взлет мохнатых бровей.

Такой нос даже у самого миролюбивого нееврея вызывал отчаянный зуд в ладонях: очень уж тянуло вклепить по этому носу наотмашь, а потом посмотреть, что из этого получится.

Но этого носа никто в жизни пальцем не касался – останавливала кубическая форма хозяина. Потому и сохранился нос не сплюснутым и не уменьшенным, а в самом натуральном первозданном виде, каким заложили его, не сглазить бы, еврейские родители часового – благочестивые и тихие Мендл-Янкл и Сарра Цацкес из маленького местечка на севере Литвы.

Даже в самом кошмарном сне им не могло привидеться, что их старшего сына Моню судьба занесет к черту на рога в самую глубину таинственной России и он из парикмахера превратится в солдата и будет стоять часовым у зачехленного знамени полка. И радоваться при этом, что он хоть пребывает в тепле, а его товарищи, такие же евреи, как и он, мерзнут на жутком морозе, тонут в глубоком снегу на берегу застывшей реки Волги, отработывая приемы рукопашного боя перед отправкой на фронт.

О чем думает солдат на посту?

В первую очередь о еде. И во вторую очередь о ней же.

Моня Цацкес не был исключением. Он даже и в третью очередь думал тоже о еде.

Потому что в Красной Армии была славная традиция: кормить солдат как можно меньше, чтоб были злее. А эта злость, полагало начальство, превратится при встрече с врагом в священный гнев, то есть в подлинный советский патриотизм.

Ибо со времен царя Гороха на Руси повелось:

«Тяжело в ученье – легко в бою».

«Чем чаще нас бьют, тем злее мы будем».

Этого мудрого правила аккуратно придерживаются и по сию пору. И не без успеха.

Моня же был на Руси чужим человеком, залетной птицей, и эта мудрость на него не распространялась. Даже голод не сделал его злым. Такой уж у него был кроткий нрав, доставшийся по наследству от предков вместе с носом, переходившим из поколения в поколение, как эстафета, в том же виде и того же размера, какой теперь красовался от бровей и чуть не до подбородка на лице часового.

Что такое знамя

– Одно из двух, – сказал старший политрук Кац. – Или вы освоите Устав Красной Армии... или... одно из двух!..

У Каца были рыжие волосы. Волос этих было очень много, и каждый волос завивался спиралью. Поэтому политрук смахивал на медный одуванчик.

В казарменном бараке, с опущенными морозным инеем окнами, шли занятия по политической подготовке. Стриженные наголо солдаты разных возрастов, но с одинаково торчащими ушами сидели в недавно полученном, еще не обношенном обмундировании за тесными школьными партами и смотрели не на лектора, а чуточку левее.

Чуточку левее от старшего политрука Каца, порой отвлекая его самого, стояла, нагнувшись, больших размеров русская баба по имени Глафира и тряпкой из мешковины мыла дощатые полы, гоняя перед собой темные лужи с грязной пеной. Ее широкий зад был направлен на слушателей, глаза которых были, естественно, прикованы к этому заду. Юбка задралась, высоко оголив белые толстые ноги со вздутыми синими венами. При каждом движении край юбки уползал все выше, и стриженные солдатские головы склонялись все ниже, чтобы еще глубже заглянуть под юбку.

На побеленной известью стене висел длинный плакат с большими красными буквами:

**Бойцы Красной Армии!
Внуки Суворова и Кутузова!
Россия смотрит на вас!
Грудью прикроем Родину-Мать!**

Все бойцы в этой казарме и даже старший политрук Кац никак не могли приходиться внуками русским дворянам Суворову и Кутузову, потому что были евреями. Да еще из Литвы. О том, что их зачислили во внуки Суворова и Кутузова, они и представления не имели. И по очень простой причине – не умели читать по-русски.

Одна лишь уборщица Глафира могла претендовать на кровную связь с великими полководцами, но тогда бы ее следовало называть не внуком, а внучкой.

– Не отвлекаться! – строго предупредил солдат старший политрук Кац. – Одно из двух. Или вы будете смотреть на Глафиру... или...

– Одно из двух, – услужливо подсказал политруку рядовой Мотл Канович.

Кац проходил с солдатами – новобранцами Шестнадцатой Литовской дивизии раздел Устава Внутренней службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, посвященный боевому знамени.

– Канович! Встать! Повтори, что такое знамя.

Мотл Канович, бывший портной из местечка Ионава, вылез из-за парты и, сутулясь, свесил руки по швам.

– Можно отвечать на идише? – спросил он по-еврейски.

– Нет. Только на русском. Мы, Канович, не в вашем местечке Ионава, а в России, и здесь протекает не река Неманас, а Волга-матюшка река.

Уборщица Глафира, которая, кроме русского, других языков не знала и до того, как попала вольнонаемной в Литовскую дивизию, даже не предполагала о их наличии, не разгибаясь, поправила политрука:

– Не матюшка, а матушка. Господи, политрук, а чего лопочет!

– Глафира! – стал строгим Кац. – Одно из двух. Или вы замолчите и не будете мешать... или...

– Да мне-то что?.. – повернула к нему почти заголенный зад Глафира и сильным толчком тряпки погнала пену по доскам. – Ты – командир, ты и учи.

– Ну, так все-таки, что такое знамя, Канович?

– Знамя?.. Вас интересует, что такое знамя?..

– Да, меня интересует.

– Хорошо... Это... это... Ну, флаг.

– Знамя, Канович, – это символ.

– Что такое символ? – спросил Канович.

– Что такое символ? – переспросил Кац и задумался. – Символ... Это... это... Символ.

– Может быть, на идиш? – попробовал выручить политрука бывший портной.

– Никаких идиш! – рассердился Кац. – Устав Красной Армии написан по-русски. Еврейского Устава пока еще нет... и не будет.

– Кто знает? – пожал плечами рядовой Моня Цацкес.

– Цацкес, встать! Идите, Цацкес, ко мне. Вот здесь, на плакате, нарисовано наше красное знамя. Объясните мне и своим товарищам, из чего оно состоит.

– А чего объяснять-то? – заметила, выкручивая тряпку, Глафира. – Переливать из пустого в порожнее...

Моня Цацкес, невысокого роста, но широкий в кости новобранец пошел к политруку, ступая по свежeweымытому полу на носках своих красных больших ботинок, и сделал круг, обходя обширный Глафирин зад.

– Знамя, – взглянув на плакат, почесал стриженный затылок Цацкес, – составлено... из...

– Господи! Не знамя, а знамя, – вмешалась Глафира, не разгибаясь и с ожесточением гоня тряпкой мутную лужу.

- Не перебивать! – одернул Глафиру старший политрук. – Продолжайте, Цацкес.
- Знамя состоит из... красной материи...
- Не материи, а полотнища, – качнул рыжим одуванчиком Кац. – Дальше.
- Из палки...
- Не палки, а древка.
- Что такое древко? – удивился Цацкес.
- Палка. Но говорить надо – древко.
- Надо так надо.
- Солдатская доля, – вздохнула Глафира, – хочешь не хочешь, говори, что прикажут.
- Дальше, Цацкес.
- На конец палки, то есть... этого самого... как его... надет, ну, этот... как его...

Можно сказать на идише?

– Нет. По-русски, Цацкес, это называется наконечник. То есть то, что надето на конец.

- Объяснил! – хмыкнула Глафира. – Мало ли чего надевают на конец?
- А что мы видим в наконечнике? – спросил Кац.
- Мы видим... – задумался Цацкес, вперившись своими круглыми черными глазами в плакат. – Мы видим... этот... ну как его... Молоток!
- Молот, – поправил Кац. – И...
- И... – повторил за ним Цацкес. – Что это, я знаю, а выговорить не могу.
- Серп, батюшки! – вставила Глафира. – Чего тут выговаривать?
- Серп, – сказал Цацкес.
- Значит, серп и молот, – подвел итог старший политрук Кац.
- Правильно, – согласился Цацкес.
- А что означают серп и молот? – подумав, спросил старший политрук.
- Не знаю... – простодушно сознался рядовой Цацкес.
- Много упомнишь... на таком пайке... – сочувственно вздохнула Глафира, повернув зад к аудитории, и солдаты все как один снова пригнули стриженные головы к партам, сию секунду разглядывая что-то под ее задравшейся юбкой.

– Серп и молот – это символ, – сказал Кац и строго посмотрел на зад уборщицы, остервенело шуровавшей замызганный пол казармы.

– Дожила Россия, – сокрушенно вздохнула Глафира. – Докатилась, матушка... защитников понабирали... Много они навоюют.

Моня, возвращаясь на место, не сумел разминуться с Глафириным задом.

– Уйди, нехристь! – разогнулась Глафира, показав свое плоское, изрытое оспой лицо, и беззлобно замахнулась тряпкой.

Моня вприпрыжку добежал до своей парты и плюхнулся рядом со Шлэйме Гахом, который в мирное время был шамесом в синагоге.

Старший политрук Кац уставился в книжку Устава и стал зачитывать вслух, раскачиваясь, с подвывом, как молитву:

– Знамя – символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу об их священном долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни...

Моня наморщил лоб, сию секунду уловить что-нибудь, и, не добившись успеха, шепнул соседу:

– Вы что-нибудь понимаете?

Шлэйме Гах скосил на него большой, навывкате, грустный глаз:

– Рэб Цацкес, запомните. Я – глухой на оба уха. За два метра уже не слышу. Делайте, как я. Смотрите ему в рот.

– Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя – в районе боевых действий части, – уже чуть не пел старший политрук Кац. – При утрате знамени командир части и непосредственные виновники подлежат суду военного трибунала, а воинская часть – расформированию...

Переходящая красная вошь

В самый разгар войны с немцами Сталин дал приказ прочесать все уголки России и найти литовцев, чтоб создать национальную литовскую дивизию. Как ни старались военкоматы, кроме литовских евреев, бежавших от Гитлера, ничего не смогли набрать. Пришлось довольствоваться этим материалом. Литовских евреев извлекали отовсюду: из Ташкента и Ашхабада, из Новосибирска и Читы, отрывали от причитающих жен и детей и гнали в товарных поездах к покрытой толстым льдом реке Волге.

Здесь, в грязном и нищем русском городке, до крыш заваленном снегом, их повели с вокзала в расположение дивизии штатской толпой, укутанной в разноцветное тряпье, в непривычных для этих мест фетровых шляпах и беретах. Они шагали по середине улицы, как арестанты, и толпа глазела с тротуаров, принимая их за пойманных шпионов.

– Гля, братцы, фрицы! – дивился народ на тротуарах.

Впереди этой блеющей на непонятном языке колонны шел старшина Степан Качура и, не сбиваясь с ноги, терпеливо объяснял местному населению:

– То не фрицы, а евреи. Заграничные, с Литвы. Погуляли в Ташкенте? Годи! Самый раз кровь пролить за власть трудящихся.

Старшина Степан Качура был кадровый служака, довоенной выпечки, щеголял в командирском обмундировании, и только знаки различия в петлицах указывали на то, что он еще не совсем офицер. Сапоги носил хромовые, каких не было у командиров рот, а брюки-галифе из синей диагонали были сшиты в полковой швальне с такими широкими крыльями, что старшину по силуэту можно было опознать за километр. В полевой бинокль.

Первый вопрос, который старшина задал евреям-новобранцам, приведенным в казарму со свертками постельного белья под мышкой, был такой:

– Кто мочится у сне – признавайся сразу!

Евреи стояли перед двухэтажными деревянными нарами, где вместо матрасов горбились мешки, набитые сеном, и никак не реагировали на слова старшины. Большинство – из-за незнания русского языка.

– Ладно. – Старшина с нехорошей ухмылкой на широком лице прошелся перед строем, поскрипывая сапогами и покачивая крыльями своих галифе. – Правда все равно выплывет. И придется ходить с подбитым глазом.

Нары распределялись по жребию. Моне Цацкесу повезло – ему достались нижние нары и близко от железной печки. Но удача, как известно, ходит в обнимку с неудачей.

Верхние нары, прямо над Моне, занял долговязый, худющий парень с узким смешным лицом. Вернее, лицо имело печальное, страдальческое выражение, но выглядело смешно. Из-за того, что оно было выпукловогнутым. Левая щека запала, как будто с этого боку нет зубов, а правая выпирала как от опухоли. Нос тоже был изогнут. Рыжеватые бровки заломились острым углом над переносицей и совсем пропали над грустными, как у недоеной козы, глазами.

Этого малого звали Фима Шляпентох. Армейская судьба свела с ним Моню Цацкеса надолго, почти до самого конца второй мировой войны. И дружба эта началась с того, что рядовой Цацкес, как и предрекал старшина, подбил глаз рядовому Шляпентоху в первую же ночь, проведенную в казарме.

Моня только уснул, поудобнее умяв своим телом мешок с сеном и согревшись сухим жаром натопленной на ночь железной печки, как вдруг не только проснулся, но и вскочил в страхе: с верхних нар сквозь щели в досках Моне в лицо потекла теплая струйка.

От его крика всполошилась вся казарма. Дневальный включил свет. Солдаты в белых кальсонах и рубашках столпились в проходе. С верхних нар робко свесилось искривленное мучительной гримасой лицо рядового Шляпентоха.

Моня Цацкес заехал ему в глаз, и вся левая, вогнутая, сторона лица заплыва си-

ним кровоподтеком. Шляпентох в голос, содрогаясь худыми плечами, заплакал на верхних нарах.

Моне стало неловко, и он сказал ему на идише:

– Ладно, брось. Чего же ты не отозвался, когда старшина спросил?

– Мне... было... стыдно... – рыдал Шляпентох. – Мне всю... жизнь стыдно.

Шляпентоху велели снять с нар свой сенник и положить возле печки – к утру будет сухим, – а самому подстелить шинель и лечь спать, потому что скоро подъем и никто не успеет выспаться.

Моня тщательно вымыл лицо, перевернул свой сенник и уснул, как и положено здоровому человеку. Фима Шляпентох еще долго вздыхал и всхлипывал у себя наверху и только на рассвете успокоился, затих.

И тогда на нижних нарах с ревом вскочил Моня Цацкес. Снова теплая струйка оросила его. Фима Шляпентох в эту ночь обмочился дважды, и соответственно дважды вымок внизу рядовой Цацкес.

Утром старшина Качура не без удовлетворения обозрел синий с багровым отливом «фонарь» под глазом у рядового Шляпентоха и приказал ему поменяться местами с рядовым Цацкесом.

– Такому не место наверху, – назидательно сказал старшина Качура. – Бо там он не только создает неудобства для себя, но и затрагивает личность нижележащего бойца Красной Армии. Кто еще забыл про свою слабость – прошу поменяться местами.

Несколько человек понуро слезли с верхних нар. Старшина дал указание ночным дежурным будить этих солдат, чтоб они могли сходить до ветру вместо того, чтобы позорить честь советского воина и портить казенное имущество.

Дежурные по ночам орали «Подъем!» и будили всю казарму. Иван Будрайтис, литовец из Сибири, решил повеселиться в свое дежурство. Он воткнул спящему Шляпентоху между пальцев ноги полоску газетной бумаги, разбудил своих дружков, чтобы они посмотрели на потеху, и поджег бумажку. Огонь пополз к пальцам, и Шляпентох во сне стал быстро-быстро дергать ногами, словно крутя педаль, отчего эта забава и носит название «велосипед».

Цацкес проснулся от криков Шляпентоха. У Фимы от ожогов вздулись пузыри на ноге. Иван Будрайтис помирал со смеху. Моня, злой спросонья, двинул Ивану Будрайтису кулаком в широкую монгольскую скулу, и у того засветился «фонарь» такого же размера и цвета, как и у Фимы Шляпентоха.

Утром, когда вышли на строевые занятия, старшина Качура, обнаружив синяк под глазом у Будрайтиса, решил, что и он напрудил во сне, и занес его в список подлежащих побудке по ночам. Всех, кто попал в этот список, старшина с воспитательной целью усиленно гонял на строевой подготовке, и они к концу дня замертво валились на свои пропахшие мочой сенники. Так что, когда дежурный их будил, они никак не могли продрать глаза, и их поднимали с уже мокрых сенников.

От занятий строевой подготовкой валились с ног не только бойцы этой категории, но и вся рота. Даже такой дуб, как Иван Будрайтис, исходивший не одну сотню верст по сибирской тайге, к вечеру заметно сдавал. Евреи к тому времени уже ползали как сонные мухи. И от усталости. И от голодных спазм в желудке. Потому что кормили новобранцев по самой низкой норме, а при такой физической нагрузке пустое брюхо хлопало о позвоночник, как парус о мачту.

Евреи диву давались: зачем нужно столько топать строевым шагом, отрабатывать повороты налево, направо и кругом, как будто их готовят для парада, а не для отправки на фронт, где это, как известно, ни к чему – лежи себе в мокром окопе и жди, когда предназначенная тебе пуля разыщет адресат, не заглядывая в номер полевой почты.

Кроме отработки строевого шага, они учились ползать по-пластунски, наступать перебежками по пересеченной местности, окапываться, рыть траншеи полного профиля. И все это в снегу, на ветру, при сильном морозе, от которого слипались ноздри и брови становились седыми от инея. Да еще таскать на себе противогаз, винтовку с патронами, а если особенно «повезет», то навьючат тебе на горб ящик с минами для ба-

тальянского миномета.

Не учили лишь одному – стрелять. Евреям стало казаться, что на войне не стреляю, а только ползают, утопая в снегу, с непосильным грузом на спине, и едят как можно меньше, чтобы, должно быть, не прибавить в весе.

Даже такой крепыш, как Моня Цацкес, после отбоя лежал пластом на своих нарах. Он мучительно шевелил мозгами в поисках способа хоть немного сбавить физическую нагрузку, не нарушая при этом Устав Красной Армии. Старшина Качура был стреляный воробей. Нужно было напрячь всю еврейскую смекалку, чтоб перехитрить этого хохла.

Моня напряг. И нашел слабое место старшины.

– Вошь, – наставлял новобранцев старшина Качура, – не меньший враг для советского человека, чем германский фашист.

И если у кого-нибудь обнаруживали эту самую вошь, то объявлялось ЧП – чрезвычайное происшествие. Сразу троих солдат гнали в баню, а их обмундирование и постельные принадлежности прожаривали до вони в дезокамере, именуемой в казарме «вошебойкой». Почему гнали троих? Для верности. Санитарной обработке подвергались и сам виновник, на котором нашли вошь, и его соседи по нарам, слева и справа. Все трое целый день ходили именинниками.

Ни один еврей не откажется лишний раз помыться в бане. А до срока сменить пропотевшее насквозь белье – это и вовсе подарок судьбы. Но главный выигрыш был в ином. Три счастливчика, попавшие в зону поражения вошью, целый день кантовались в казарме. Их освобождали от занятий, и они, распаренные после баньки, похлебав баланды, в чистом исподнем валялись на нарах двадцать четыре часа – отсыпались на неделю вперед. И вся рота завидовала им черной завистью.

Моня Цацкес решил действовать. Нужна была вошь. Закаленная, выносливая. И такая вошь нашлась. На ком, вы думаете? Точно. На Фиме Шляпентохе.

Моня, узнав об этом, кинулся на Шляпентоха как тигр, бережно снял с него вошь, завернул в бумажку и помчался к старшине.

– Троих в санобработку, – приказал Качура.

Вошь была ему показана, но не ликвидирована. И в этом был секрет рядового Цацкеса. Пока Шляпентох и два его соседа кейфовали на нарах после баньки, Моня раздобыл у бывшего портного Мотла Кановича наперсток, посадил туда вошь, а отверстие залепил хлебным мякишем.

Назавтра та же вошь была обнаружена на Монином соседе слева, и еще одна троица, включая Моню, была на весь день освобождена от учений в поле.

Сама вошь была осторожно водворена в наперсток, запечатана мякишем и спрятана в щель под нарами. А Моня и два других счастливчика попарились на славу, натянули на себя сухое и горячее после прожарки обмундирование и, румяные, сияющие, направились по тропинке в снегу к столовой за своими пайками. Моня раскрыл своим спутникам секрет, и они, как люди догадливые, поняли, что все обязаны ему, рядовому Цацкесу, и его волшебной вошке, которая отныне будет передаваться как приз по нарам. Наподобие переходящего красного флага, которым в советской стране награждают победителя в социалистическом соревновании.

Оба солдата задохнулись от восторга. И смотрели на Моню как на фокусника из цирка. Моня снисходительно принимал их восхищение, сидя за деревянным столом в пустой столовке и поедая из жестяной мисочки жидкую перловую кашу, именуемую в казарме «шрапнелью» за специфические качества, которые она весьма громогласно проявляет спустя некоторое время после приема пищи. Батальонный хлебрез положил перед каждым по три ломтика черного ржаного хлеба, весом в триста граммов, и Моня сгреб все девять ломтиков к своей миске. Озадаченным товарищам он объяснил, что это – плата за удовольствие, полученное ими благодаря Моне. Как-никак, он все придумал, а кроме того, у него есть и производственные издержки: содержание вошки, уход за ней, кормление. Моня уверял, что кормит ее своей кровью, другой пищи, каналья, не принимает, и потому приходится выпускать ее время от времени пасть на собственный живот. Конечно, когда рядом нет начальства.

Солдаты не усомнились в правдивости его слов и слушали, раскрыв рты и даже перестав чавкать. Свою обеденную пайку они без споров отдали Моне и пошли отлеживаться на нарах до вечера, когда, замерзшие и еле живые, вернутся в казарму те, кого еще не облагодетельствовал рядовой Цацкес.

Переходящая красная вошь отныне распределялась по строгому графику: ее обнаруживали два раза в неделю, и каждый раз – в противоположном конце казармы. Два раза в неделю новая троица парилась и отсыпалась, а Моня уплетал честно заработанный гонорар – шестьсот граммов черного ржаного хлеба. Он поправился, запавшие было щеки снова округлились, и на них пробились намек на румянец.

А старшина Качура спал с лица. Он потерял аппетит от расстройства и, сколько ни силился, никак не мог понять, откуда такое наваждение в казарме. Тогда он вызвал санитарную комиссию во главе с доктором Копеляном. Комиссия под наблюдением доктора ползала по нарам, трясла сенники, просмотрела по швам нижнее белье на каждом солдате и ничего не обнаружила. Весь личный состав был найден стерильно чистым.

Старшина Качура был польщен выводами комиссии, но полного удовлетворения не получил. В душе осталась тревога. Поэтому он охотно поддержал предложение доктора Копеляна освободить всю роту на один день от занятий, пропарить в бане и пропустить через «вошебойку», а помещение подвергнуть дезинфекции.

Это было уже опасно. От дезинфекции вошь могла задохнуться в своем убежище под нарами. Поэтому наперсток с нею перекочевал в карман Мониной шинели. Рота наслаждалась отдыхом и воздавала Моне хвалу. О вошке-благодетельнице говорили с трогательной нежностью, как говорят о любимом существе. И даже имя ей дали – Нина.

Правда, Фима Шляпентох усомнился, верно ли солдаты определили пол. А вдруг это не самка, а самец? Моня предложил Фиме попросить у лейтенанта Брехеса очки и заглянуть Нине под юбку.

Рота славно провела весь этот день. Моня Цацкес великодушно отказался от обычного гонорара, и каждый съел свою пайку полностью, до последней крошки, что еще больше подняло настроение.

На следующий день у старшины Качуры чуть не сделался нервный припадок. Нина вновь объявилась. И три солдата со свертками белья под мышкой ждали приказа отправляться в баню.

– Дай-ка мне ее, суку, – попросил вдруг старшина Качура и, взяв бумажку с вошью, поднес ее ближе к глазам. – Кажись, я уже раз ее видел, а? Или мне мерещится? – Старшина медленно оглядел евреев. – Ну, народ! Погодите! Скоро на фронт пойдем. Там я вас быстро в православную веру переведу.

С выражением решимости на широком лице и брезгливо поджав губы, старшина Качура положил бедную Нину, беспомощно шевелившую ножками, на плоский ноготь своего большого пальца и таким же плоским ногтем другого большого пальца раздавил. С легким треском.

У рядового Цацкеса при этом кольнуло в сердце, как будто он присутствовал при публичной казни. Другие солдаты потом признались, что и они испытали нечто подобное.

Парикмахеры – три шага вперед!

С трехлинейной винтовкой образца 1891/1930 года на плече Моня стоял на плацу в карауле по случаю прибытия командира полка. Подполковник Штанько сам принимал очередное пополнение. И не ради праздного любопытства, а с конкретной целью. Ему понадобился личный парикмахер. И чтобы не советское барахло, а высший класс. Заграничной выучки.

Петр Трофимович Штанько почти всю свою жизнь провел в армии и, кроме казенного обмундирования, другой одежды не признавал. Он был, что называется, военная косточка. До капитанского звания стригся под бокс, а в последующих чинах стал бриться наголо, подражая своему старшему командиру. Его бритая голова сверкала, как бильярдный шар, над складками красной от избытка крови бычьей шеи, туго стянутой

кромкой подворотничка. Свежий белый подворотничок ежедневно подшивала командиру полка его боевая подруга и верная жена Маруся, Мария Антоновна, скромная служащая местного военотрга.

Старшина Качура выстроил перед командиром полка новое пополнение. Евреи стояли на морозе, переминаясь в легкой изношенной обуви, одетые, как на карнавале, в шубы с лисьими дамскими воротниками, в плащи-дождевики и даже в крестьянские домотканые армяки. Шеи были замотаны шарфами всех цветов и размеров. Шарфы натянуты на носы и покрыты седым инеем от дыхания.

Старшина Качура в комсоставской шинели до пят, перетянутый крест-накрест скрипучими ремнями портупеи, прохаживался перед шеренгой евреев. Он ступал кошачьим упругим шагом в своих сапогах из черного хрома и напоминал кота перед строем мышей, отданных ему на съедение.

Моня стоял на карауле и не думал ни о чем. Кроме обеда. До которого еще было два часа стояния на морозе.

– Здравствуйте, товарищи бойцы! – гаркнул командир полка.

Вместо положенного громкого приветствия евреи простуженно закашляли, окутавшись облачками пара.

Старшина Качура, видя непорядок, уставился да начальство, готовый немедленно принять меры. Но командир полка движением руки отказался от его услуг:

– Новенькие. Не знают порядка. Научим! А сейчас... Строй, слушай мою команду! Кто парикмахер, – он с наслаждением помедлил, – три шага вперед!

Разноцветная, застывшая на морозе шеренга колыхнулась, выталкивая в разных концах замотанные фигурки. Примерно половина строя вышла вперед. Остальные топтались на прежнем месте.

Подполковник Штанько раскрыл рот, что означало высшую степень удивления.

– Столько парикмахеров? Га? А остальные кто?

– Остальные, товарищ подполковник, – взял под козырек старшина Качура, – по-нашему, по-русски, не понимают.

– Перевести остальным, что я сказал!

Несколько евреев из тех, что вышли на три шага вперед, обернулись назад и по-литовски и по-еврейски разъяснили суть сказанного командиром. И тогда товарищ Штанько застыл надолго. Все до единого евреи, еще остававшиеся на месте, торопливо догнали своих товарищей, проделав положенных три шага.

– Так, – только и мог сказать потрясенный командир полка и после тяжелого раздумья, произнес: – Значит, все – парикмахеры? Все хотят брить командира? А кто будет Родину защищать? Га? Кто будет кровь проливать за родное социалистическое отечество? Кто, мать вашу... Пушкин?

Евреи, неровно вытянувшиеся в новую шеренгу, пристыженно молчали. Во-первых, потому, что они, иностранцы, совершенно не знали имени классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, а во-вторых, из-за того, что они, к великому неудовольствию подполковника Штанько, все поголовно оказались людьми одной профессии.

– Не нужен мне личный парикмахер. Обойдусь, – обиженно, словно ему плюнули в душу, сказал командир полка. – А этот табор – в минометную роту! Всех подряд! Пускай плитку в два пуда на горбу потаскают!

Он со скрипом повернулся на снегу, и опечаленный взор его упал на часового, застывшего в карауле. То был рядовой Моня Цацкес. Его длинный нос покраснел на морозе и делал солдата еще более похожим на заморскую птицу. Недобрые огоньки зажглись в очах командира.

– Скажи мне, боец, – спросил он тихим вкрадчивым голосом и скосил глаза на свою свиту, как бы готовя ей сюрприз. – Кем ты был на гражданке? До войны?

– Парикмахером, – со струей пара выдохнул Моня Цацкес.

Свита замерла. Старшина Качура напрягся до скрипа в ремнях портупеи. Подполковник Штанько грозно шагнул к часовому, хлопнул его рукой в овчинной рукавице по

плечу и заржал как конь. Рассыпалась в смехе свита. Оттаяли, съехали к ушам каменные скулы старшины Качуры.

– Как звать? – подобрев, спросил Штанько.

– Цацкес.

– Что за цацки-шмацки? Я фамилию спрашиваю!

– Цацкес, – повторил, округлив глаза, Моня.

– Ну, после всего, что было, я ничему не удивляюсь, – сказал подполковник. – Значит, ты тоже парикмахер, Шмацкес?

– Так точно, товарищ подполковник!

– Хороший парикмахер?

– Лучших нет.

Запас русских слов у рядового Цацкеса был ограничен, и большую часть их он позаимствовал из лексикона старшины Качуры. Поэтому в подробности не вдавался, отвечал коротко и ясно.

– Диплом есть?

– В рамке.

– В рамке? Ну и сукин сын! Хвалю за находчивость! Беру! Старшина, направить в мое распоряжение рядового... э-э-э...

– Цацкес, – подсказал ему Моня.

– Правильно, – согласился командир. – А этих... строим в вошебойку! Прожарить, отмыть коросту, чтоб блестели как пятики! И постричь парикмахеров... Наголо! Под нулевую машинку.

Вспомнив, что не все понимают по-русски, он для убедительности снял меховую шапку и продемонстрировал новобранцам свой бритый череп.

– Полезно для здоровья и гигиены: мозгам – доступ кислорода, вшам – укрытия нет.

В заключение командир полка обогатил солдатские умы афоризмом собственного производства:

– Не волос красит человека, а любовь к Родине! Ясно?

Евреи дружно кивнули.

Полковой знаменосец

Подполковник Штанько не любил терять времени зря и, слушая доклады подчиненных, одновременно брился. Вернее, не брился, а его брили. И делал это рядовой Моня Цацкес, обладатель заграничного бритвенного прибора и диплома (в рамке) известной школы фрау Тиссельгоф в городе Клайпеда (Мемель).

Моня брил подполковнику Штанько голову, взбив кисточкой горку пены и обмотав ему шею вафельным полотенцем. Все участники совещания: и командиры батальонов и рот, и начальник обозно вещевого снабжения, и начфин, и помпохим, – как дети, водили глазами за бритвой, гулявшей по начальственной голове, снимая пласты мыла и обнажая сверкающий череп.

Обсуждался вопрос первостепенной важности: предстоящее вручение полку боевого знамени и подготовка подразделений к параду, который состоится по случаю столь торжественного события.

– Гонять строевой с утра до ночи! – давал указания товарищ Штанько. – Не хватит дня – полные сутки! Двадцать четыре часа! Кровь из носу – держи равнение направо! Ясно? Политрукам провести работу с рядовым составом, чтоб каждый осознал политическую важность момента.

Загудела зеленая коробка полевого телефона, и солдатик-связист, сидевший на корточках в углу, несмело протянул командиру трубку.

– Да, да. – Подполковник Штанько закивал недобритой головой, обрамленной кружевами из мыльной пены.

Моня Цацкес задержал бритву в воздухе, чтобы нечаянно не порезать своего клиента, а все совещание затаило дух, силясь угадать, с кем и о чем таком разговаривает

их непосредственный начальник.

– Хрен с ними! – рявкнул в трубку Штанько. – Решай сама!

И, скосив глаз на почтительно замерших подчиненных, пояснил:

– Жена... Кошка родила – как быть с котятами?

И снова в трубку, деловито хмуря лоб:

– Как там со знаменем? Отпустили в военторге? Панбархат? Лучшего качества? Смотри! Нам говно не нужно. Знамя – лицо полка, понимаешь... Все буквы золотом? Порядок. Так слушай, мать, чтоб к вечеру было готово. Я к тебе солдата подошлю. Упакуешь и отдашь... Как зеницу ока... Понятно? Под расписку... Все!

Он не глядя отдал связисту трубку.

– Хорошая новость, товарищи. Знамя готово. Панбархат высшего сорта. И золотом расписано. Все как надо! Вот что значит своя рука в военторге!

Моня быстро соскреб пену с головы подполковника, достал из сумки пузатую бутылочку «Тройного» одеколona и стал заправлять в горлышко трубку пульверизатора.

– Не переводи продукт, дурень! – Подполковник Штанько отнял у него бутылку одеколona и с бульканьем опорожнил ее в стакан. – Такой дефицит в стране, каждая капля, понимаешь, на учете, а он, нерусская душа, голову этим добром мажет.

Подполковник откинулся на спинку кресла и выплеснул в разинутый рот почти полный стакан «Тройного» одеколona. Бритая голова его стала краснеть, наливаясь кровью, и остатки мыльной пены на ней заблестели особенно отчетливо. Он крикнул, шумно выдохнул, содрал с шеи вафельное полотенце, протер голову, как после бани, и, бросив Моне смятое полотенце, сказал, как отрубил:

– Поедешь к моей жене – знамя привезешь. И коньячку у Марьи Антоновны захвати. Понял? Шагом марш! Выполняй приказ!

В ранних сумерках зимнего дня рядовой Цацкес в полной выкладке – с винтовкой на плече, противогазом на боку и пустым вещевым мешком за спиной шагал мимо сугробов по узкой протоптанной дорожке. В вещевом мешке он должен был доставить в полк бархатное знамя с золотой вышивкой и бутылку коньяка для командира.

– Не довезешь – ответишь головой, сказал на прощанье подполковник Штанько, помахав желтым прокуренным пальцем перед Мониным носом, и имел в виду, конечно, знамя. Но и коньяк тоже.

Рядовому Цацкесу велели быть при оружии – взять винтовку и обойму с пятью боевыми патронами, чтобы в случае надобности применить не колеблясь, ориентируясь по обстановке. Ходить с винтовкой без противогаза – не положено. Комендантский патруль заберет. Так что Моню нагрузили на полную катушку, и через будку контрольно-пропускного пункта он вышел в заснеженный город.

Одет был Моня в обмундирование б/у (бывшее в употреблении), и на левой стороне его короткой, потертой шинели суровой ниткой было грубо заштопан рваный кусок сукна – след от попадания осколка прямо в сердце. По этой причине прежний владелец больше не нуждался в своей шинели. И после дезинфекции и мелкого ремонта ее вручили пополнению Красной Армии в лице рядового Цацкеса.

Конечно, носить эту штопку как мишень на своем сердце было не очень приятно. Но, с другой стороны, был и добрый знак – вроде талисмана: как известно, пуля не попадает дважды в одно и то же место. Это – почти закон. А если бывает исключение, то почему это обязательно должно случиться с Моней Цацкесом?

Зато ботинки были хоть куда. Американские. Толстой кожи и с твердой как камень подошвой. Красного пожарного цвета. Новенькие, никем не ношенные. И если бы не грязно-серые армейские обмотки, спирально обвившие ноги до колен, Моня в своей обуви выглядел бы франтом.

Прохожие первым делом смотрели на его ботинки, а потом уж выше, на него самого. А Моня между тем думал, что эта командировка в город за знаменем оборачивается печально для его желудка. Ужин в казарме он прозеваает, пайку хлеба умнет дежурный по столовой, вернется он, дай Бог, к полуночи и свалится на нары с пустым брюхом.

Рассчитывать на то, что жена командира полка догадается накормить его, было

смешно. Моня не был советским человеком, он был из буржуазной Литвы и ни минуты не сомневался, что жена подполковника дальше прихожей его не пустит и, не дав даже погреться с дороги, отправит назад, как поступают с любым посыльным.

Моня ошибся. Жена командира полка коммуниста Штанько преподавала ему чудный урок советской демократии, социалистического отношения к человеку и, если хотите, сталинской дружбы народов СССР. Потому что рядовой Цацкес был еврей по национальности, а Марья Антоновна – чистокровная русская, и это нисколько не помешало особым отношениям, которые сложились у них, можно сказать, с первого взгляда.

Марья Антоновна Штанько была крепкой бабенкой, лет под сорок, с ямочками на румяных щеках и еще более аппетитными ямочками на пухлых локтях. Светлая, расплетенная коса перекинута через круглое плечо на высокую грудь. Под белой прозрачной кофточкой просвечивал черный бюстгалтер. При ходьбе она двигала бедрами так, что черная юбка, казалось, вот-вот лопнет, но выручало высокое качество и прочность военторговского сукна.

Марья Антоновна как самого дорогого гостя ввела Моню в дом. Сняла с него шинель и повесила в шкаф, рядом со своим отороченным черно-бурой лисой зимним пальто. Винтовку и противогаз аккуратно поставила в угол за шкафом. Сама согрела на примусе кастрюлю с борщом, положила ему в тарелку мозговую кость, облепленную мясом, и у Мони голова закружилась от запахов. В спину дышало уютным теплом от черного бока круглой голландской печи. Моне хотелось плакать. Из резного буфета Марья Антоновна достала початую поллитровку водки и нетронутую, запечатанную сургучом темную бутылку коньяка.

– Это – супругу, – отодвинула она коньяк в сторонку. – А мы с вами, Моня... не знаю вашего отчества, по-простецки, по-нашему, разопьем водочки.

Моня залпом выпил первую стопку. Он ел как голодный пес, судорожно глотая и давясь. Марья Антоновна отпила два глотка и сказала:

– Мне хватит.

Моня выхлебал весь суп и почистил тарелку корочкой хлеба, впитывая приставшие к фаянсу капли жира. Корочку, естественно, тут же проглотил.

Марья Антоновна сидела против Мони за столом и любовалась им, положив подбородок на ладони.

– Уважаю мужчин, у которых аппетит, – сказала она томно. – Такой и в бою не подведет, и... Хотите добавки? Или потом?

– Когда – потом? – Моня вытер рукавом гимнастерки испарину со лба.

– У тебя увольнительная до скольких?

– До двенадцати ноль-ноль.

– Батюшки, – всполошилась Марья Антоновна, – времени-то в обрез. Скидай обмундирование, ложись отдыхай.

И, как мать сыночка, повела за руку обмякшего от водки и еды рядового Моню Цацкеса в спальню командира полка. Первое, что увидел мутным оком Моня, был портрет подполковника Штанько над изголовьем широкой железной кровати с никелированными шишками и пирамидой из подушек. На овальном портрете у подполковника были в петлицах не шпалы, как теперь, а жалкие треугольники сержанта и выглядел он лет на двадцать моложе. Рядом, в такой же фигурной раме, улыбалась совсем юная и худенькая Марья Антоновна – с шестимесячной завивкой и в берете набекрень.

Моня с трудом подавил желание встать навытяжку и прокричать:

– Здравия желаю, товарищ подполковник!

Но воздержался. От сытой неги не ворочался во рту язык.

Марья Антоновна привела отдохнуть Цацкеса, но сама первой сняла с ног обувь. Они раздевались безмолвно, повернувшись друг к другу спинами, на чем настояла Марья Антоновна, у которой был незыблемый кодекс целомудрия. Когда Моня стащил с ног красные ботинки и разматал с занемевших пальцев портянки, спальню наполнила удушливая вонь, поглотившая аромат духов «Красная Москва», которыми Марья Антоновна старательно надушилась под мышками и между грудей, прежде чем лечь в кро-

вать, под одеяло. Трусы и лифчик она так и не сняла.

Моня с другой стороны кровати приподнял край одеяла и лег, зазвенев пружинами матраса, точно под портретом командира полка. Они лежали без движения, уставясь в потолок, пока Марья Антоновна – натура активная, памятуя, что увольнительная у солдата истекает в двенадцать ноль-ноль, не просунула под его крепкую шею свою пухлую руку.

– Ух, зараза! – с чувством прошептала она и прижала его голову к своей стянутой лифчиком груди, что было высшим проявлением чувств у жены командира полка товарища Штанько. Она с придыханием повторяла это слово, стаскивая с бедер трусы, которые остались висеть на одной ноге у ступни.

– Ух, зараза, – цедила Марья Антоновна, удобнее располагаясь под Монею и раздвигая тяжелые бедра.

Дальше текст изменился.

Учуяв в себе горячее инородное тело, со скрипом проникавшее глубже и глубже, Марья Антоновна пойманной рыбкой забила задом по гулким пружинам и взвыла в голос совсем не так, как подобает жене коммуниста и командира Красной Армии.

– Батюшки-светы! – заголосила она. – Святые угодники! Мать пресвятая богородица!

Войдя в раж, Марья Антоновна сделала «мостик», как цирковой акробат, выгнулась полукругом, упершись в кровать пятками ног и темечком. Моня взлетел в воздух, беспомощно болтая тесемками кальсон.

Затем последовал истошный вопль, совсем уже не похожий на голос Марьи Антоновны.

– Ка-ра-у-у-ул! – вскричала она низким мужским басом и рухнула на матрас.

Вместе с ней рухнул и рядовой Цацкес. Жалобно взвизгнули пружины.

– Зараза... – чуть слышно прошептала Марья Антоновна.

Моне полагалось бы что-то сказать или сделать, дабы Марья Антоновна не подумала, что имеет дело с неотесанным парнем, у которого нет понятия о деликатном обращении со слабым полом.

Но Моне не дали проявить тонкость натуры. Раздался громкий стук в дверь. Кто-то ломился в квартиру.

Обстановка складывалась явно неблагоприятная для рядового Мони Цацкеса, откомандированного за полковым знаменем и обнаруженного на супружеском ложе командира полка. Квартира находилась на четвертом этаже, но даже если бы Моня и вздумал прыгнуть с такой высоты, то ему пришлось бы сперва взломать двойные оконные рамы, намертво закрепленные с наступлением зимы.

Моня одеревенел и даже не шевельнулся в кровати.

Другое дело – Марья Антоновна. Долголетний стаж офицерской жены и немалый личный опыт побудили ее к действиям быстрым и решительным. Она выскочила пулей из-под одеяла, в одно касание напялила на себя халат, взбила прическу и командирским тоном, не терпящим возражений, распорядилась:

– Собирай свои манатки! Живо! И – в шкаф!

Моня сгреб в охапку гимнастерку, галифе, портянки, ботинки.

– Вещи в шкаф?

– И сам тоже.

Она распахнула резные створки большого платяного шкафа и толкнула Моню с вещами в его темное удушливое нутро. Дверцы шкафа с треском захлопнулись за ним. Он ткнулся лицом в мягкий мех чернобурки, потянул носом казарменный дух своей шинели. Но сильнее всего оказался невыносимо острый запах нафталина, пропитавший шкаф насквозь. При такой концентрации нафталин несомненно уничтожил всю моль. Сейчас он обрушил свою силу на рядового Цацкеса, как бы проверяя стойкость и выдержку советского солдата. Моня несколько раз вздохнул, захлебнулся, стал кашлять надсадно и долго и понял, что здесь, в шкафу, он примет свой бесславный конец.

Поток света хлынул в шкаф, и в открывшемся проеме дверей возникло, как потустороннее видение, решительное и строгое лицо Марьи Антоновны Штанько:

– Бери остальное барахло!

В его живот уткнулась винтовка, а на руки свалилась увесистая сумка противогаза. Дверцы захлопнулись, свет исчез, Моня вновь остался в кромешной тьме и густом настое нафталина.

Рядовой Цацкес терпеть не мог противогаза. Напялить его на свою голову и бегать с этой свиной мордой он считал мукой и нетерпеливо срывал резиновую маску с круглыми стеклянными очками, как только слышал команду «отбой!». Но сейчас противогаз наконец сослужит свою службу и спасет бойца Красной Армии от смертельной опасности, которых так много в изменчивой солдатской судьбе.

Одним рывком, как учили на занятиях по химической защите, Моня вытащил из сумки маску, засунул в нее свой выдающийся вперед подбородок и, натянув ее на макушку, глубоко вдохнул чистый, процеженный через активированный уголь, воздух.

Моня дышал полной грудью. И при каждом вдохе и выдохе щеки резиновой маски то западали, то раздувались. Уши оставались открытыми, и поэтому он слышал все, что делалось вне шкафа.

– Кого я вижу? – с неподдельной радостью встретила нежданного гостя Марья Антоновна. – Товарищ политрук!

И тут Моня услышал мурлыканье старшего политрука Каца, игриво оправдывавшегося перед хозяйкой дома за позднее вторжение. Он, мол, сегодня назначен в комендантский патруль, битых три часа мерзнет на улицах, и когда дошел до ее дома, сердце не выдержало, и он во имя своего глубокого чувства пошел на явное нарушение устава караульной службы.

– У, зараза! – восхитилась Марья Антоновна. – А как же твой патруль?

– Обойдется, – засмеялся политрук. – Сержант – толковый парень. Знает свое дело.

– Ладно, иди греться, – проворковала Марья Антоновна.

Моня Цацкес не верил своим ушам, торчавшим по краям резиновой маски противогаза.

Надсадно заныли пружины матраса, и под портретом еще совсем молоденького командира полка, на его семейном ложе, место рядового солдата занял старший политрук.

– От, зараза... – Марья Антоновна, как безошибочно определил Моня, сбрасывала с себя халат, стоя спиной к кровати. – Я-то думала, что муж тебя послал за полковым знаменем.

– Нет-нет, – проблеял политрук из-под одеяла. – За знаменем товарищ подполковник послал солдата.

– Надо же... – удивилась Марья Антоновна и, судя по звону пружин, рухнула в кровать.

Без всякой паузы, как говорится, с ходу завела она уже знакомое слуху Мони:

– Батюшки-светы! Святые угодники! Мать пресвятая богородица!

Моня Цацкес снова удивился тому, что советская женщина, жена коммуниста и командира Красной Армии в минуты душевного подъема возвращается к своему темному прошлому и все ее высказывания носят такой откровенно религиозный характер. Еще Моня подумал о том, что Марья Антоновна повторяется.

«Сейчас сделает мостик», – раздувая резиновые щеки, прикинул в уме Моня и испытал острый приступ ревности, когда утробно, как пароходный гудок, поплыло по квартире:

– Ка-ра-у-у-ул!

Наступила тишина. И обостренный слух Мони улавливал частое, но уже успокаивающееся дыхание двух уставших, расслабленных людей.

Из прихожей послышался прокуренный мужской кашель и стук каблука о каблук, какой производят сапоги, с которых сбивают налипший снег.

– Муж!.. – простонала Марья Антоновна. – У него свой ключ. Бегите, Кац.

– Ку-уда?

– В шкаф, куда же еще? Если он вас застанет в постели, пристрелит и меня и вас.

Простоволосая и совсем голая, в одном черном лифчике, Марья Антоновна рванула на себя дверцы шкафа и взвизгнула сдавленным голосом. Белое привидение в

кальсонах и рубаше глядело на нее сквозь круглые стекла на черной резиновой маске. Гофрированный хобот змеился по животу.

– Не дрейфь, Кац, – опомнилась наконец Марья Антоновна. – Тут все – свои.

И втокнула лишившегося дара речи политрука в шкаф, плотно придавив его дверцами к Мониному телу. Политрука колотила дрожь.

– Маруся, – басовито рокотал в квартире голос подполковника Штанько, – почему в таком виде?

– Новый лифчик примеряла, – кокетливо отозвалась жена, – тебя дожидаясь...

– Порадовать хотела?

Жена охнула. Штанько, видать, ущипнул ее тугое тело.

– Ну, хозяйка, докладывай. Отправила знамя?

– Вот оно лежит, запаковано...

– Я ж солдата посылал... Что, не приходил? Сукин сын! В самоволку подался. Сгною на гауптвахте. Не забыть бы звякнуть в комендатуру... Наш офицер сегодня в патруле... политрук... опознает стервеца.

– Позвонишь, позвонишь... – ласково смирля гнев супруга Марья Антоновна. – Отдохни сначала... Все служба да служба... Нечто не соскучился по своей Марусе?... Я тут глаза проглядела... Все жду-жду...

– Ладно, – нехотя уступил подполковник. – Сними с меня, Маруся, сапоги... Заждалась ты меня, боевая подруга...

Подполковник Штанько опустился на край кровати, и в шкаф снова проник стон пружин.

Старший политрук Кац и рядовой Цацкес стояли нос к носу. Оба в нижнем белье. Но Цацкес сохранял спокойствие, политрук же все не мог унять дрожь в коленках. То, что перед ним не привидение, а человек, и не морда чудовища, а маска противогаза, политрук постепенно осознал. Более того, слегка поднатужась, он сделал умозаключение, что человек этот проделал тот же путь из кровати Маруси в шкаф, что и он. И это еще не, все. По нательному белью и противогазу Кац опознал в нем военнослужащего. И не из командного состава.

– Фамилия? – окончательно придя в себя, прошептал политрук Кац в круглые стекла маски, – Звание?

– Рядовой Цацкес, товарищ политрук, – глухо забухало под, резиной, вздувая маску по бокам.

– Цацкес? Вот ты где? Тебя, кажется, послали за знаменем?

– А вас, кажется, послали в патруль?

– Маруся, – проник в шкаф голос подполковника Штанько, – кто-то шепчется тут, а? Или мне мерещится?

– Мерещится, мерещится. Замотался, бедный, на службе. Обними свою Марусю.

Пружины матраса жалобно заныли.

Старший политрук Кац, надышавшись нафталина, замотал головой, готовый чихнуть. Моня зажал ему рот ладонью.

– Дай противогаз, – пускал пузыри политрук. – Уступи на минутку, я погибаю.

Моня не отвечал и сильнее сдавливал Кацу рот.

– Дай противогаз, – заскулил политрук. – Я требую... Как офицер у солдата.

Моня был нем как стена.

– Я прошу... как советский человек советского человека...

Моня не шелохнулся.

Крупные слезы струились из глаз Каца.

– Прошу тебя, Цацкес, как еврей еврея... – Старший политрук перешел с русского на идиш.

Тут Монино сердце не выдержало. Он стянул со своей вспотевшей головы очкастую маску. Кац натянул маску на себя, задышал часто и глубоко, вспучивая резину на щеках.

Политрук отдышался, пришел в себя.

– Рядовой Цацкес, – строго бухнул он из-под резины. – Ты таки попадешь на

гауптвахту.

Моня сдавил рукой гофрированную трубку противогаза, и доступ воздуха в маску прекратился. Лицо политрука за круглыми стеклами побледнело, вместо воздуха он всасывал в рот резину. Политрук сорвал с головы маску, обнажив рыжий одуванчик. И Бог знает, как бы дальше разыгрались события в шкафу, если бы снаружи не послышался низкий, пронзительный вой.

Поначалу и Кац и Цацкес приписали этот вой Марье Антоновне, ее неистощимому темпераменту, но вой все усиливался, нарастал, вызывая холодок на спине, и они безошибочно определили его происхождение. Это была сирена. По радио передавали сигнал воздушной тревоги.

– Воздушная тревога! – ворвался в шкаф голос диктора. – Вражеская авиация прорвалась к городу! Граждане! Спускайтесь в укрытия и бомбоубежища! Повторяю...

Подполковнику Штанько и его супруге Марье Антоновне не нужно было повторять. Они выскочили из кровати и, поспешно натягивая на себя одежду, ринулись на лестницу, по которой с воплями и плачем мчались вниз полуодетые соседи.

– Партийный билет при мне? – похлопал себя по нагрудным карманам подполковник Штанько. – Маруся, за мной!

Они покатались по ступеням, и топот десятков ног утонул в сухих ударах зенитных орудий. Осколки гулко застучали по железной крыше. Где-то поблизости ухнула бомба, потрянув стены.

Цацкес и Кац вывалились из шкафа.

Взрыв повторился. Из оконной рамы со звоном посыпались осколки стекла. Холодный воздух полоснул их по ногам.

– Где убежище? Я вас спрашиваю, Цацкес? – Старший политрук путался в штанинах галифе. – Ведите меня в убежище!

– Пусть вас черти ведут, – лениво отмахнулся Моня Цацкес, деловито напяливая на себя обмундирование.

Косо подпоясав шинель ремнем, он сгреб винтовку, двинулся к выходу.

– Постойте, не оставляйте командира, – бросился за ним всклоченный политрук, прижав к груди сапоги с портянками.

Рванула еще одна бомба. Им в спину ударила воздушная волна и под звон стекла вымела обоих из квартиры.

Они не вошли, а ввалились в душный, набитый людьми подвал. И стали осторожно протискиваться подальше от входа.

– Политрук! – послышался удивленный голос подполковника Штанько. – Вас бомбежка застала возле моего дома?

– Так точно, – пролепетал Кац.

– А это кто? – уставился командир на Моню. – Вот ты где, голубчик, ошиваешься? Тебя за знаменем послали... оказали честь... А ты? Куда отлучился? Небось у бабы застрял? В нашем доме? Га? Ботинки не зашнурованы, воротник расстегнут. Что за вид? Под трибунал пойдешь! Политрук, взять его под арест.

От нового взрыва посыпалась штукатурка с потолка и лампы в подвале робко замигали.

– Батюшки-светы, – пролепетала Марья Антоновна, прижимаясь к мужу. Ее слова не выражали сочувствия рядовому Цацкесу. Они выражали только страх. – Все пропало, – тихо причитала Марья Антоновна. – Сгорит дом, имущество... Всю жизнь копили...

– Молчать, – оборвал ее подполковник Штанько. – Наживем, Маруся. Были б кости, мясо нарастет.

И вдруг его осенило.

– Знамя! Где полковое знамя? Оставила наверху, курва? Все – загубила меня! Подвела под трибунал!..

Моня Цацкес в этот момент тоже вспомнил, что не только знамя осталось наверху, в квартире, но и его противогаз валялся на полу в спальне, а за потерю казенного имущества...

– Товарищ подполковник, – сказал Моня проникновенно, – разрешите мне... Принесу знамя!

– Ты? Молодец! Ступай! Спасешь знамя! Родина...

Моня не слушал, что дальше нес подполковник Штанько, впавший в слишком возбужденное состояние, а протолкался к выходу и поскакал по ступеням на четвертый этаж.

Двери квартиры Штанько были распахнуты настежь, и холодный ветер из разбитых окон шевелил простыни на смятой кровати. Моня надел на себя противогазную сумку, сунул под мышку пакет со знаменем и уже в прихожей споткнулся о ремень с кобурой, откуда торчала рукоятка пистолета. Это, вне всякого сомнения, было личное оружие подполковника Штанько. Моня прихватил с собой и ремень с пистолетом.

Подполковник Штанько чуть не прослезился, бережно принимая у Мони пакет со знаменем. И сидевшие в подвале жильцы дома, штатские люди, тоже растрогались при виде этой сцены.

– От лица службы – благодарю!

– Служу Советскому Союзу! – неуверенно произнес Моня Цацкес, и несколько женщин вокруг них заплакали.

Марья Антоновна при всех обняла Моню и поцеловала в губы.

Моня протянул подполковнику его пистолет с ремнем и вытянул руки по швам.

– Рядовой Цацкес готов идти под арест.

– Отставить, рядовой! – Командир озарился отеческой улыбкой. – Ты искупил свою вину перед Родиной. Ты спас знамя полка. И на торжественном параде, в воскресенье, я тебя назначаю знаменосцем. Понял? Все. Дай мне пожать твою мужественную руку.

Их руки соединились в крепком мужском пожатии, исторгнув слезы у женщин.

Новый взрыв обрушил с потолка облако штукатурки, припудрив командира полка и рядового, не разжимавших рук.

– Батюшки-светы! Святые угодники! Мать пресвятая богородица, – скороговоркой бормотала Марья Антоновна, жена командира Красной Армии и коммуниста. Эти слова приходили ей на ум каждый раз, когда она слишком возбуждалась.

Полковой марш

Старшина Качура был большой любитель хорового пения. А из всех видов этого искусства отдавал предпочтение строевой песне.

– Без песни – нет строя, – любил философствовать старшина и многозначительно поднимал при этом палец. – Значит, строевая подготовка хромает на обе ноги... и политическая тоже.

Недостатка в людях с хорошим музыкальным слухом рота не испытывала. В наличии имелись два скрипача и один виолончелист. Правда, без инструментов и без понятия, что такое строевая песня. Сам старшина играл на гармошке тульского производства и повсюду таскал эту гармонь с собой, отводя душу в своей каморке при казарме, когда рота засыпала и со старшинских плеч спадало бремя дневных забот.

Любимой строевой песней старшины была та, под которую прошла вся его многолетняя служба в рядах Красной Армии. Песня эта называлась «Школа красных командиров» и имела четкий маршевый ритм. И слова, берущие за душу.

Шагая по утопанному снегу рядом с ротной колонной, старшина отрывистой командой «Ать-два, ать-два!» подравнивал строй и сам, за отсутствием запевалы, выводил сочным украинским баритоном:

Школа кра-а-асных команди-и-и-ров
Комсостав стране лихой кует.

Последние три слова он выстреливал каждое отдельно, чтоб рота под них чекала шаг:

Стране!
Лихой!
Кует!

Дальше, по замыслу, рота должна была дружно, с молодецким гиканьем подхватить:

Смертный бой принять готовы.
За трудящийся народ.

Но тут начинался разнобой. Евреи никак не могли преодолеть новые для них русские слова и несли такую околесицу, что у старшины кровь прилиwała к голове.

– Отставить! – рявкнул Качура. – Черти не нашего бога! Вам же русским языком объясняют, чего тут не понять?

Но именно потому, что им объясняли русским языком, евреи испытывали большие затруднения.

Одно радовало сердце старшины: в роте объявился кандидат в запевалы, каких во всей дивизии не сыскать. Бывший кантор Шяуляйской синагоги рэб Фишман, получивший вокальное образование, правда незаконченное, в Италии.

Старшина лично стал заниматься с Фишманом, готовя его в запевалы. И все шло хорошо. О мелодии и говорить нечего – Фишман схватывал ее на лету. И слова выучил быстро. Правда, старшине пришлось попотеть, шлифуя произношение, от чего кантор Фишман, человек восприимчивый, очень скоро заговорил с украинским акцентом.

Беда была в ином. Что бы Фишман ни пел, он по профессиональной привычке вытягивал на синагогальный манер со сложными фиоритурами и знойным восточным колоритом. В его исполнении такие простые, казалось бы, слова, как:

Школа красных командиров
Комсостав стране лихой кует.
Смертный бой принять готовы
За трудящийся народ, –

превращались в молитву. И под эти самые слова, пропетые по-русски с украинским акцентом бывшим кантором, а ныне ротным запевалой, хотелось раскачиваться, как в синагоге, и вторить ему на священном языке древних иудеев – лошенкойдеш.

Это понимал даже старшина Степан Качура, убежденный атеист и не менее убежденный юдофоб. Занятия с евреями по освоению советской строевой песни не прибавили старшине любви к этой нации.

Но старшина Качура был упрям. Следуя мудрому изречению «повторение – мать учения», он гонял роту до седьмого пота, надеясь не мытьем, так катаньем приучить евреев петь по-русски в строю.

После изнурительных полевых учений, когда не только евреи, но и полулитовец-полумонгол из Сибири Иван Будрайтис, еле волокли свои пудовые ноги, мечтая лишь о том, как доползти до столовой, старшина начинал хоровые занятия в строю.

– Ать-два! Ать-два! – соловьем заливался Качура, потому что в поле, когда солдаты ползали на карачках, он не переутомлялся, только наблюдая за ними. – Шире шаг! Грудь развернуть! По-нашему, по-русски!

Это было легко сказать – развернуть грудь. Личный состав роты отличался профессиональной сутулостью портных, сапожников и парикмахеров, которым в прошлом приходилось сгибаться и горбиться за работой. А после полевых учений на пересеченной местности, когда каждый мускул ныл от усталости, требование молодецки развернуть грудь смахивало на издевательство над сутулыми людьми.

– Третий слева... – с оттяжкой командовал старшина, а третьим слева плелся

Фишман. – Запе-е-евай!

Фишман плачущим тенорком заводил:

Школа красных командиров
Комсостав стране лихой кует.

– Рота... Хором... Дружно! – взвивался голос старшины.

И евреи, бубня под нос, нечленораздельно подхватывали, как на похоронах:

Смертный бой принять готовы
За трудящийся народ.

– От-ста-вить, – чуть не плакал старшина.

Страдания старшины можно было понять. Полк готовился к важному событию – торжественному вручению знамени. После вручения, под развернутым знаменем, которое понесет рядовой Моня Цацкес, полк пройдет церемониальным маршем перед трибунами. А на трибунах будет стоять все начальство – и военное и партийное. Без хорошей строевой песни, как ни шагай – эффекта никакого. Старшина, известный а полку как трезвенник, даже запил от расстройства. В охиночку налил в своей каморке и с кирпично-багровым лицом появился в дверях казармы, покачивая крыльями галифе:

– Хвишмана до мене!

Выпив, Качура перешел на украинский. Фишман, на ходу доматывая обмотку, побежал на зов. Старшина пропустил его вперед и плотно притворил за собой дверь. Вся казарма напряженно прислушивалась. В коморке рыдала тульская гармонь, и баритон Качуры выводил слова незнакомой, но хватавшей евреев за душу, песни:

Повив витрэ на Вкраину,
Дэ покынув я-а-а-а дивчи-и-ну,
Дэ покынув ка-а-а-ари очи-и...

Потом песня оборвалась. Звучали переборы гармошки, мягкий, расслабленный голос старшины что-то внушал своему собеседнику.

Песня повторилась сначала.

Повив витрэ на Вкраину... –

затянули в два голоса рядовой Фишман и старшина Качура. Высоко взвился синагогальный тенор, придавая украинской тоске еврейскую печаль.

Дэ покынув я-а-а-а дивчи-и-ну... –

жаловались в два голоса еврей и украинец, оба оторванные от своего дома, от родных, и заброшенные в глубь России на скованную льдом реку Волгу.

Дэ покынув ка-а-а-ари очи-и...

Каждый покинул далеко-далеко глаза любимой, и глаза эти, несомненно, были карими: как водится у евреек и украинок.

Дуэт Фишман-Качура заливался навзрыд, позабыв о времени, и казарма не спала и назавтра еле поднялась по команде «Подъем».

– Старшина – человек! – перешептывались евреи, выравнивая строй и отчаянно зевая.

– Он – человек, хотя и украинец, – поправил кто-то, и никто в срою не возразил. Шептались на идиш, а кругом – все свои, можно и пошутить.

Всем в этот день хотелось выручить старшину, и решение нашел Моня Цацкес.

– Есть строевая песня, которая каждому под силу, – сказал он. – Это песня на идиш.

И вполголоса пропел:

Марш, марш, марш!
Их гейн ин бод,
Крац мир ойс ди плэйцэ.
Нейн, нейн, нейн,
Их вил нит гейн.
А данк дир фар дер эйцэ.¹

Это сразу понравилось роте. Фишман помчался к старшине, пошептался с ним, и старшина отменил строевые занятия в поле. Рота, позавтракав, гурьбой вернулась в теплую казарму, расселась на скамьях и под управлением Фишмана стала разучивать песню. Старшина Качура сидел на табурете и начищенным до блеска сапогом отбивал такт, с радостью нащупывая нормальный строевой ритм. Подбритый затылок старшины розовел от удовольствия.

Рота пела дружно, смакуя каждое слово. Текст заучили в пять минут.

– Ну как? – спросил бывший кантор Фишман, отпустив певцов на перекур.

– Сойдет, – стараясь не перехвалить, удовлетворенно кивнул старшина. – Тут что важно? Дивизия у нас литовская, и песня литовская. Политическая линия выдержана. Вот только, хоть я слов не понимаю, но чую, мало заострено на современном моменте. Например, ни разу не услышал имени нашего вождя товарища Сталина. А? Может добавим чего?

Фишман переглянулся с Цацкесом, они пошептались, затем попросили у старшины полчаса времени и вскоре принесли дополнительный текст.

Там упоминался и Сталин. Старшина остался доволен. Во дворе казармы началась отработка строевого шага под новую песню.

Моня Цацкес от этих занятий был освобожден. Он сидел в штабе полка, и командир лично инструктировал знаменосца:

– Слухай сюда! Я тебе оказал доверие, ты – парень со смекалкой и крепкий, протащишь знамя на параде, как положено. Для этого большого ума не нужно. Но вот поедем на фронт, и тут моя голова в твоих руках.

– Я вас хоть раз побеспокоил или порезал? – не понял Цацкес.

– Слухай, Цацкес. Ты хоть и еврей, а дурак. Я не за бритые! Сам знаешь – порезал бы меня – загремел бы на фронт с первой же маршевой ротой. Я за другое. Читал Устав Красной Армии? Что в уставе про знамя сказано – не помнишь? А политрук учил вас. Так вот, слухай сюда! Знамя... священное... дело чести... славы... Это все чепуха. Главное вот тут: за потерю знамени подразделение расформируется, а командир – отдается под военный трибунал. Понял? Вот где собака зарыта. Командир идет под военный трибунал. А что такое военный трибунал? Расстрел без права обжалования... Вот так, рядовой Цацкес.

Командир полка доверительно заглянул Моне в глаза:

– Ты хочешь моей смерти?

– Что вы, товарищ командир, да я...

1

Марш, марш, марш!
Я иду в баню,
Почеши мне спину.
Нет, нет, нет,
Я не хочу идти.
Спасибо тебе за совет (идиш).

– Отставить! Верю. Значит, будешь беречь знамя как зеницу ока, а соответственно и голову командира...

– О чем речь, товарищ командир! Да разве я...

– Верю! А теперь отвечай, знаменосец, на такой вопрос. Полк идет, скажем, в бой, а ты куда?

– Вперед, товарищ командир!

– Не вперед, а назад. Еврей, а дурак. Заруби на носу, как только начался бой и запахло жареным, твоя задача – намотать знамя на тело и, дай Бог ноги, подальше от боя. Главное – спасти знамя, а все остальное – не твоего ума дело, понял?

Моня долго смотрел на командира и не выдержал, расплылся в улыбке:

– Смеетесь надо мной, товарищ командир, а?

– Я тебе посмеюсь. А ну, скидай гимнастерку, поучись наматывать знамя на голое тело, я посмотрю, как ты справишься.

Моня пожал плечами, стащил через голову гимнастерку и остался в несвежей бязевой рубашке.

– Белье тоже снимать?

– Не к бабе пришел. А ну, наматывай!

Он протянул Моне мягкое алое полотнище из бархата с нашитыми буквами из золотой парчи и такой же парчовой бахромой по краям. Моня, поворачиваясь на месте, обмотал этой тканью свой торс, а командир помогал ему, поддерживая край. Два витых золотых шнура с кистями свесились на брюки.

– А их куда? – спросил Моня, покачивая в ладони кисти.

– Расстегивай брюки, – приказал подполковник.

Моня неохотно расстегнул пояс, и брюки поползли вниз.

– В штаны запихай шнуры, – дал приказание командир. – А кисти между ног пусти. Потопчись на месте, чтоб удобно легли. Вот так. Теперь застегни штаны и надевай гимнастерку.

Моня послушно все выполнила сразу почувствовал себя потолстевшим и неуклюжим. Особенно донимали его жесткие кисти в штанах. Моня расставил ноги пошире.

– Вот сейчас ты и есть знаменосец, – подытожил удовлетворенный командир полка, отступив назад и любуясь Моне. – В боевой обстановке придется бежать не один километр... Не подкачаешь?

– Буду стараться, товарищ командир, только вот неудобно... в штанах... эти самые...

– Знаешь поговорку: плохому танцору яйца мешают? Так и с тобой. Да, у тебя там хозяйство крупного калибра. К кому это ты подвалился в нашем доме, когда была бомбежка? А? У, шельмец! Даешь! Правильно поступаешь, Цацкес. Русский солдат не должен теряться ни в какой обстановке. Это нам Суворов завещал. А теперь – разматывай знамя, на древко цеплять будем. Завтра – парад.

Парад состоялся на городской площади. На сколоченной из свежих досок трибуне столпилось начальство, на тротуарах-женщины и дети. Играл духовой оркестр. Говорили речи, пуская клубы морозного пара. Подполковник Штанько, принимая знамя, опустился в снег на одно колено и поцеловал край алого бархата.

Потом пошли маршем роты и батальоны Литовской дивизии. Как пушинку нес Моня на вытянутых руках полковое знамя, и алый бархат трепетал над его головой. Отдохнувшие за день отгула солдаты шагали бодро. Впереди их ждал праздничный обед с двойной пайкой хлеба и по сто граммов водки на брата.

Особенно тронула начальственные сердца рота под командованием старшины Качуры. Поравнявшись с трибуной, серые шеренги рванули:

Марш, марш, марш!
Их ген ин бод
Крац мир ойс ди плдицэ.
Нейн, нейн, нейн,

Их вил нит гейн.
Сталин вет мир фирн.²

У старшего политрука Каца потемнело в глазах. Он-то знал идиш. Но старшина Качура, не чуя подвоха, упругой походочкой печатал шаг впереди роты и, сияя как начищенный пятак, ел глазами начальство.

Военное начальство на трибуне, генеральского звания, в шапке серого каракуля, сказала одобрительно:

– Молодцы, литовцы! Славно поют.

А партийное начальство, в шапке черного каракуля, добавило растроганно:

– Национальное, понимаешь, по форме, социалистическое – по содержанию...

И приветственно помахало с трибуны старшине Качуре. Старший политрук Кац прикусил язык.

Рэб Мойше и рэб Шлэйме

Эта пара появилась в дивизии с очередным пополнением. И отличалась от других евреев тем, что у обоих были бороды. Холеные, с проседью бороды, нарушавшие общий солдатский вид и посему подлежавшие ликвидации как можно скорее, пока они не попались на глаза высокому начальству.

Оба были духовного звания. Так определил старшина Качура. Мойше Берелович, или просто рэб Мойше, был раввином в маленьком местечке, а Шлэйме Гах при той же синагоге состоял шамесом, служкой. Во всей литовской дивизии был еще один человек из их местечка, и этот человек был их заклятый враг. Старший политрук Кац.

Шамес ходил за раввином как тень и, если их разлучали на время, начинал беспокойно метаться по всему расположению части и спрашивать каждого встречного-еврея, русского или литовца:

– Ву из рэб Мойше?³

И русский боец и литовец без перевода научились понимать шамеса и, если знали, говорили ему, где видели раввина.

У раввина борода была пошире, погуще, представительнее. А у шамеса, по определению старшины Качуры, – труба пониже и дым пожиже. Вот на этих-то бородах Красная Армия и показала служителям культа свои зубы, а раввин Берелович – свой характер, за что его зауважали не только атеисты, но и антисемиты.

Постричь наголо свои головы они позволили безропотно, но бороды категорически отказались подставить под ножницы. Старшина Качура пригрозил военно-полевым судом. И заранее предвкушал, как затрясутся оба от страха. Рэб Мойше посмотрел на старшину как на неодушевленный предмет и, старательно выговаривая русские слова, пояснил, что все в руках Божьих, а военно-полевого суда он не боится, так как с такой войны он в любом случае навряд ли живым вернется. Лишиться же бороды для раввина все равно что потерять лицо. Честь. Достоинство. И никакой армейский устав не принудит его добровольно уступить хоть один волосок.

Степан Качура, нутром чуявший, что от евреев ему, кроме беды, ждать нечего, проявил украинскую смекалку и рапортом передал дело по инстанции: пускай старшие званием расхлебывают. Дело о раввинской бороде дошло до командира полка. И коммунист товарищ Штанько, посоветовавшись где надо, принял соломоново решение.

Рядовому составу растительность на лице не положена. Но раввин, как руководящий состав синагоги, может быть приравнен к старшему командному составу армии. А посему – бороду раввина сохранить. Проведя при этом среди рядового и сержантско-

² Сталин меня поведет (идиш).

³ Где рэб Мойше? (идиш)

го состава политико-воспитательную работу о вреде религии вообще и иудаизма в частности. Одновременно разъяснить бойцам, что все нации в СССР равны. И евреи тоже. Можно сослаться на положительные примеры: Карла Маркса, вождя мирового пролетариата, и Лазаря Моисеевича Кагановича, народного комиссара путей сообщения СССР, – евреев по национальности.

Что касается рядового Гаха, то служба в синагоге, так называемый, шамес, может быть приравнен, с большой натяжкой, к сержантскому составу, что лишает его права на ношение бороды. Посему – бороду снять. В случае невыполнения приказа применить меры дисциплинарного воздействия.

Шамес был так благодарен Всевышнему, сумевшему отвести оскверняющую руку от бороды раввина, что свою дал состричь безропотно. Моня Цацкес, которому было приказано это сделать, потом рассказывал, что по лицу шамеса текли слезы величиной с фасоль.

Без бороды и остриженный наголо, шамес стал похож на ощипанного воробья. И ходил, как рано постаревший мальчик, по пятам за рэб Мойше, любуясь на его бороду, единственную в полку.

Рэб Мойше строго соблюдал кошер и был готов умереть с голоду, но не прикоснуться к чему-нибудь трэфному. В Красной Армии паек был полуголодный, а что такое кошер, даже генералы понятия не имели. Солдатские котлы – перловая каша и щи из гнилой капусты – заправлялись крохотными порциями свиного сала – лярда – из американской помощи. Раввин отказался от приварка. Остался на сухом пайке. Худел на глазах, дошел до острого гастрита, но не сдавался. На занятия выходил как все, таскал на спине минометную плиту в два пуда, которую старшина на длинных переходах непременно вручал именно ему.

Солдаты, даже неевреи, сочувствовали раввину, и каждый как мог старался облегчить его страдания. То головку лука, раздобытую на стороне, отдадут ему, то сушеных фруктов из посылки. И смотрели на него с почтением. Как на святого. По их понятиям, только святой в голодное время мог добровольно отказаться от своей продовольственной нормы.

Старшина писал рапорты по инстанциям и получал ответ: разобраться на месте, о принятых мерах доложить. Старшина понимал, что начальство спихивает ответственность на него, а так как дураком себя не считал, то не принимал к раввину никаких мер, а был с ним только строже, чем с другими, и искал подходящего случая, чтобы сломать его, унижить и подчинить.

Такой случай скоро представился. На стрельбище. Роты проходили учебные стрельбы. По мишеням. На дистанции в двести метров. Пять мишеней, пять солдат, пять патронов на каждого.

Мишень рэб Мойше, ко всеобщему удивлению, была поражена со снайперской точностью. Все пять попаданий – кучно в центре. Соседи слева и справа не попали даже в край мишеней: палили в небо.

Старшина Качура долго скреб подбритый затылок, заподозрив в этом еврейские штучки.

– Меня не проведешь! – Он взял у рэб Мойше его винтовку и долго смотрел в дуло на свет. – Не бывает снайперов среди лиц духовного звания. Где тебя учили стрельбе?

Раввин не удостоил старшину ответом и только поднял глаза к небу. Солдаты, озадаченные не меньше старшины, сгруппировались вокруг них.

– Мы, советские люди, – громко, на весь полигон, сказал старшина Качура, – не верим ни в Бога, ни в черта. Не может человек без тренировки вложить все пять штук в яблочко. Я тебя, рэбе, выведу на чистую воду. Сменить мишень! Повторить стрельбу!

Старшина взял у шамеса, промазавшего все пять выстрелов, его винтовку и передал ее рэб Мойше, а винтовку раввина дал шамесу.

– По мишеням! Пять выстрелов! Беглым! Пли!

Захлопали, застучали, догоняя друг друга, выстрелы. Качура стоял в ногах у рав-

вина, зорко следя за каждым его движением. Свободные от стрельб солдаты толпились за спиной старшины.

Когда треск выстрелов умолк, Качура сам пробежал двести метров к стенду, сорвал мишень раввина, долго рассматривал и побежал назад.

– Осечка вышла, товарищ раввин, – ехидно сказал он, тыча в лицо рэб Мойше исколотую дырками мишень. – Куда пятый выстрел девали? В небо? К Богу послали?

В мишени зияли четыре дырки. Все – в центре. Пятой не было. Пятый выстрел раввин промазал.

– Отвечай, рэбе. Народ ждет.

Раввин пожевал губами, даже бороду забрал в рот.

– Посмотрите мишень моего соседа слева, – прикинув что-то в уме, сказал раввин. – Вы, товарищ старшина, стояли над моей душой, а я – не железный. Пятый выстрел я нечаянно положил не в свою мишень, а соседу.

Принесли мишень шамеса, и в ней действительно красовалась одна-единственная дырка. В самом центре. Шамес стрелял пять раз, и все пять раз – в небо. Это попадание было не его, а раввина.

– Слушай, рэбе, ты и вправду снайпер? – спросил ошеломленный старшина.

– С Божьей помощью, – под хохот солдат ответил рэб Мойше.

Громче и залистее всех смеялся шамес. Старшина отвел душу на нем: влил рядовому Гаху пять нарядов вне очереди.

В штабе полка, куда стекались сведения со стрелковых учений, обнаружили, что самый высокий показатель у рядового Мойше Береловича, и приказали выпустить специальный боевой листок. Два лютых врага раввина – старшина Качура и старший политрук Кац – собственноручно вывесили на плацу у казармы боевой листок с большим заголовком-призывом:

Стрелять метко, как Мойше Берелович!

У этого боевого листка солдаты потешались весь день, а назавтра в лозунге была обнаружена приписка. Перед именем Мойше было добавлено краской другого Цвета короткое слово «рэб», и лозунг зазвучал совсем аполитично:

Стрелять метко, как рэб Мойше Берелович!

Боевой листок сняли. А старший политрук Кац, проходя мимо бородатого солдата, шепнул ему на идише:

– Берегись, рэбе. Я вам этого не забуду.

Если старшина Качура зеленел, заведя раввина, – это понятно и не вызывает удивления. Старшина Качура терпеть не мог любого еврея. Тем более такого, который умудрился получить разрешение начальства на ношение бороды, хотя рядовому составу такое категорически возбраняется.

Политрук Кац при всем своем желании не мог записаться в антисемиты. Он не терпел раввина по иной причине! Они были врагами социальными.

И шамес, и рэб Мойше, и политрук Кац были земляки. Больше ни одного еврея из их мест и днем с огнем было не найти во всей литовской дивизии, да и в самом местечке. Ибо там их убили всех до единого, как об этом стало известно к концу войны.

Раввин Берелович предсказал это несчастье еще в 1940 году, когда пришли Советы и Литва потеряла независимость. Советы наводили свои порядки в Литве один только год, потом пришли немцы. Но за этот единственный год судьба евреев была predetermined. И этому во многом помогли такие люди, как Кац.

Литовцы терпеть не могли советских оккупантов и за то, что они русские, и за то, что коммунисты. На кого могла опереться новая власть? На местных евреев, знавших с грехом пополам литовский язык. То были плохие евреи. Но все-таки евреи.

У них в местечке таким оказался Кац. С приходом русских он сразу вышел «в лю-

ди»: стал из подмастерьев сапожника начальником волостной милиции и разгуливал по пыльным улицам местечка в синих галифе, яловых сапогах и с барабанным револьвером системы «наган» на боку.

Литовцев и евреев в местечке было примерно поровну. Синагога и костел стояли друг против друга на площади с незапамятных времен. И довольно мирно уживались. Ксендз Петкявичюс заходил к раввину Береловичу попить чайку. А раввин любил отдыхать в саду у ксендза, где оба они – два чудака – баловались стрельбой из духового ружья по самодельным мишеням.

Коммунисты в тот год стали чистить Литву от так называемого социально опасного элемента и отправлять этот элемент в холодную Сибирь. Ксендза Петкявичюса отправлял в Сибирь милиционер Кац. Он вез старого священнослужителя на ломовой подводе через все местечко на станцию, и литовцы, плача, смотрели из окон на ксендза и Каца. Кац зажег потаенную ненависть в душе каждого католика, и рэб Мойше тогда понял, что это ничтожество навлекло на евреев местечка большую беду. Он сказал об этом в синагоге и повторил самому Кацу на допросе.

Рэб Мойше как в воду глядел. Немцам даже рук пачкать не пришлось. Как только местечко было оккупировано германскими войсками, местные жители тут же вырезали всех евреев.

Сам рэб Мойше и шамес уцелели тоже не без помощи Каца. Перед самой войной он успел вдогонку за ксендзом отправить в Сибирь и раввина, и синагогального служку. Оттуда они уже попали в Литовскую дивизию и там снова встретились с Кацем. На сей раз не в милицмейской форме, а с тремя кабиками старшего политрука в петлицах.

На фронте, когда солдаты рыли траншеи, старший политрук Кац вошел в открытое столкновение с раввином. Рэб Мойше отказался копать окопы. Потому что была суббота. И попросил старшину Качуру позволить ему выполнить эту работу после захода солнца. Это было уже явное нарушение воинской дисциплины. И старшина Качура помчался в штаб.

К склону холма, где роты копали окопы, явился старший политрук Кац с пистолетом в руке и, поигрывая им, перед бородой раввина, спросил по-русски, на виду у всех солдат:

– Отказываешься копать, вражеский лазутчик?

Раввин молчал.

– Подрываешь оборонную мощь Красной Армии?

– Я не могу нарушить святость субботы.

– Я за него буду копать, – бросился к политруку шамес.

– Молчать! – взвизгнул Кац, отгоняя шамеса пистолетом. – Десять нарядов вне очереди! Слушай мою команду! Старшина! Расстрелять раввина на месте как собаку!

Старшина Качура втянул голову в плечи, – такого оборота дела он не ожидал.

Старший политрук Кац как с цепи сорвался:

– Я сам его пристрелю! Ложись в яму!

Солдаты, копавшие траншеи, побросали лопаты и застыли вокруг немым кольцом.

Рэб Мойше побледнел, но в яму не лег, а продолжал стоять, не сводя напряженного взгляда с дула пистолета в дергающейся руке политрука.

– Люди! Что вы смотрите? – запричитал на идише шамес.

И тогда несколько солдат бросились к политруку и стали просить, чтобы он им позволил ради субботы сделать за раввина его норму. Даже полулитовец-полумонгол Иван Будрайтис не выдержал.

– Зачем человека стращать? – сказал он, оттолкнув плечом рэб Мойше, так что тот очутился за спинами солдат. – Раз вера не позволяет – надо уважить.

– Марш по местам! – заорал Кац, бегая глазами по лицам окруживших его солдат. – Всех под трибунал пуцу!

Солдаты оробели, стали пятиться, отводя глаза. На куче выброшенной из траншеи земли остался лишь рэб Мойше в пилотке на стриженной седеющей голове – ветер трепал его бороду и надувал пузырем гимнастерку на широкой сутулой спине. Он стоял

над недорытым окопом, как над могилой. Старший политрук Кац направил пистолет ему в лицо.

– Рэбе, я вам говорю в последний раз. Одно из двух... Или вы будете копать, или...

Раввин беззвучно шевелил губами, читая молитву. За спиной Каца в голос, по-бабы, всхлипывал шамес.

– Вам осталось жить очень мало, рэбе... Считаю до трех... Раз... Два...

Старший политрук Кац почувствовал, что перегнул палку. Он стал озираться по сторонам, словно ища поддержки. Солдаты отворачивались. Никто не хотел встретиться с ним взглядом. А старшина Качура вообще исчез, предусмотрительно убравшись подальше от места происшествия.

– Два... с половиной... неуверенно протянул старший политрук Кац, потом громко и неправильно выматерился по-русски, сунул пистолет в кобуру и побежал по кучам земли, увязая в них сапогами, мимо солдат, расступавшихся перед ним, как перед прокаженным.

Кто-то сокрушенно вздохнул ему вслед:

– И такого человека родила еврейская мать?!

Раввин не прикоснулся к лопате до появления первых звезд, а потом работал один в опустевших траншеях, пока не стало совсем темно и трудно было различить, куда втыкать лопату. Помогал ему, как мог, шамес. Он не столько копал, сколько любовался раввином. Шамес молился на него. Он его обожал. До смешного.

Если ему случалось потерять из виду раввина, он начинал метаться, заглядывая во все углы, и не успокаивался, пока не находил. Однажды, когда рота на занятиях по химической защите залегла в поле и по команде старшины Качуры «Газы!» нацепила очкастые маски на головы, шамес чуть не сошел с ума. В противогазах все солдаты были на одно лицо. Единственная примета раввина – борода – полностью ушла под резиновую маску. Шамес бродил по полю, перешагивая через лежащих, щурился на каждую маску и плачущим голосом повторял:

– Ву из рэб Мойше?

После занятий, когда маски были сложены в сумки противогазов, солдаты долго смеялись над шамесом. А он сидел рядом с раввином и с обожанием смотрел на его бороду.

Потом все это повторилось. Но никто больше не смеялся. Некому было смеяться.

Под Орлом, после страшного боя, когда немцы распотрошили их так, что, не спаси Моня Цацкес полковое знамя, полк расформировали бы и забыли, что он когда-то существовал.

По изрытому снарядами полю, где догорали подбитые танки и люди в шинелях валялись везде, куда ни кинешь взгляд, бродил, еле переставляя ноги, солдатик без шапки, в изорванной гимнастерке, со жгуче-белой марлевой повязкой на руке до локтя. Он заглядывал в лица убитым, поворачивая тела на спину. И шел дальше. К другим кучам тел.

– Ву из рэб Мойше? – тихо и безнадежно повторял он.

Догоравшие танки удушливо чадили. Глаза шамеса слезились. Он кашлял и опять заунывно тянул:

– Ву из рэб Мойше?

Ах, любовь, как ты зла!

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Рядовой Шляпентох окончательно излечился от своего постыдного недуга и перестал мочиться во сне, как только прибыл на фронт. А если точнее, то это случилось после первого артиллерийского налета, когда позиции полка были проутюжены немецким огненным валом. Многие блиндажи обрушились, и солдат, оглушенных, контуженых, пришлось выкапывать из-под земли. Откопали и Фиму Шляпентоха. На нем не было телесных повреждений, он только слегка заикался. Но это скоро прошло. Как прошло и

другое, то, что мучило и унижало его с самых пеленок. Отныне он, как и все взрослые люди, просыпался на сухой простыне, если была простыня. А так как чаще всего он спал на своей шинели, то и шинель оставалась совершенно сухой.

Рядовой Шляпентох ожил и расправил согбенную спину. В нем проснулся мужчина. А до той поры он пребывал в дремучих девственниках и в сторону прекрасного пола даже не поглядывал, справедливо полагая, что его ночная слабость абсолютно исключает возможность контакта с женщинами. По своей наивности он даже был убежден, что никогда не сможет стать отцом и иметь собственных детей из-за проклятой немочи. О чем доверительно посетовал Моне Цацкесу, которого почитал своим другом и покровителем.

Моня Цацкес дружески, как товарищ товарища, разубедил его, присовокупив, что у него еще будут маленькие Шляпентохи и, на худой конец, они смогут мочиться по ночам вместе, в одной широкой семейной кровати. А если к ним еще присоединится мамаша, то, возможно, это и будет тем цементом, который скрепляет здоровую советскую семью.

Шутки в сторону, но Фиме Шляпентоху предстояло с большим опозданием вступить в пору половой зрелости. И он вступил. С ходу. Без оглядки.

В его душе запели соловьи и распустились розы. Суровой русской зимой, среди снежных сугробов на брустверах окопов и ходов сообщения, Шляпентох наполнился любовным томлением до отказа, его глазки под заломленными бровями заструились коровьей печалью, и Моня Цацкес всерьез опасался, что он вот-вот страстно замычит на всю передовую.

Страсть требовала выхода. Страсть нуждалась в конкретном адресе. А с адресом на фронте дело обстояло туго. В армии, как назло, служили мужчины, женщин насчитывалось всего несколько штук, но и те были прочно распределены между высшим командным составом, сочетая свои армейские обязанности телефонисток и машинисток с завидным положением офицерских наложниц. Злые солдатские языки окрестили их ППЖ, то есть походно-полевыми женами.

Фима Шляпентох устремил тоскующий взор на ту, кого видел чаще других перед собой. На начальника штабного узла связи, старшего сержанта Цилю Пизмантер, делившую ложе с самим командиром полка.

Вся эта затея была заранее обречена на неудачу. И не только потому, что Циля Пизмантер принадлежала командиру полка, и, естественно, доступ к ее телу возбранялся под угрозой штрафного батальона. Фима Шляпентох и Циля Пизмантер были несоизмеримы. Она весила, по крайней мере, втрое больше него, и ее две груди, под напором которых трещала суконная гимнастерка, были размером с пару крупных арбузов и своим бурным колыханием вредно действовали на моральное состояние всего личного состава.

Циля была родом из Рокишкиса. В дивизии насчитывалось немало ее земляков, и все они знали Цилю по довоенным временам. И рассказывали о ней одну и ту же историю, которая постороннему человеку, никогда не видевшему Цилю Пизмантер, могла бы показаться выдуманной.

Дело обстояло следующим образом. Циля никогда не слыла красавицей, и при ее размерах и весе рассчитывать на выход замуж приходилось с большой натяжкой. К моменту установления советской власти в Литве Циля пребывала уже в перезревших, засидевшихся невестах и коротала свое девичество у пульта коммутатора на телефонной станции в Рокишкисе.

В 1940 году, с приходом Советов, Циля ринулась в общественную деятельность, чтоб занять голову чем-нибудь другим, а не постыдными мыслями, одолевавшими ее день и ночь. Кроме того, она стала заядлой спортсменкой, рассчитывая укротить бунтующую плоть тяжелой физической нагрузкой.

И вот однажды, рассказывали ее земляки, в местечке был устроен физкультурный парад. И гвоздем программы намечался проезд автомобильной платформы с огромным, сделанным из фанеры макетом спортивного значка ГТО – «Готов к труду и обо-

роне». Этот значок состоял из пятиконечной звезды, вправленной в зубчатое колесо-шестеренку. А на звезде – выпуклый барельеф женщины-бегуни, в полный рост, грудью разрывающей финишную ленту. Эту бегунью на макете изображала первая местная девушка-коммунист Циля Пизмантер. Ее обрядили в необъятных размеров спортивные трусы и майку, втиснули в макет, закрепили намертво ремнями, чтобы, упаси Бог, не вывалилась при движении. И платформа двинулась по направлению к главной улице, где, оттесненные канатами, толпились возбужденные евреи, составлявшие большинство населения местечка.

Организаторы парада учли все, кроме двух немаловажных обстоятельств – булыжников мостовой в Рокишкисе и объема и веса груди славной дочери литовского народа, как ее называли в местной газете, Цили Пизмантер. А какая тут была взаимосвязь, и притом роковая, вы увидите очень скоро.

Сияла медь оркестров, изрыгая громы советских маршей, евреи рвались к канатам, как дети, и размахивали красными флажками с серпом и молотом. Они бурно ликовали в тот день, словно чуяли, что ликуют в последний раз, потому что через несколько недель началась война, и в Рокишкис пришли немцы. А как это отразилось на евреях, известно всем. Но не об этом сейчас речь.

Автомобиль с макетом значка «Готов к труду и обороне» въехал на главную улицу, мощенную крупным булыжником. Машину затрясло, закачался макет на платформе, заколебалась Циля в макете, заколыхались ее груди, вырвавшиеся из лопнувшего бюстгальтера.

Грудь Цили Пизмантер испортили весь парад в Рокишкисе. Сотрясаемые на булыжниках, они замотались влево и вправо, нанося сокрушительные удары по фанере макета. Фанера не выдержала. Макет развалился на глазах у обалдевшей публики и местного начальства, накрыв разноцветными обломками уездную знаменитость Цилю Пизмантер.

Рядовой Шляпентох, как и все в полку, знал об этой истории, но это не остудило его пыла. Он томно вздыхал, провожая коровьим взглядом проступавшие под суконной юбкой жернова зада старшего сержанта. Солдаты потешались над ним и предупреждали Фиму, что, если слух о его чувствах дойдет до командира полка, не миновать ему штрафного батальона.

Моня тоже вылил на друга ушат холодной воды, стараясь привести Фиму в чувство, и долго втолковывал ему, почему Циля не может быть предметом воздыханий. Если бы ему, Моне Цацкесу, предложили даже двойной паек, он бы и то не согласился лечь с ней в одну постель.

– Посмотри, на кого стал похож наш командир полка с тех пор, как спутался с ней, – объяснял Моня. – Ты думаешь, ей один мужчина нужен? Ей и десяти будет мало. Ты видел, какие у нее усики? А это что означает? Это означает, что она ненасытная особа. Что она любого в гроб загонит. И очень скоро нам назначат другого командира полка, вместо нашего любимого подполковника товарища Штанько. И полковой писарь товарищ Шляпентох собственноручно заполнит на него похоронное извещение для безутешно скорбящей вдовы мадам Штанько.

Но и такие жуткие картины, нарисованные Моне, не остудили любовный пыл рядового Шляпентоха. Близилась развязка. И кризис разрешился. Разрешился он вмешательством самой Цили Пизмантер. Грубым, беспощадным вмешательством, от которого душа влюбленного обуглилась, как после пожара.

Циля, в шинели внакидку, с выпирающей грудью, пробегала по заснеженному ходу сообщения в штабной блиндаж и наткнулась на Шляпентоха, который, уступая ей дорогу, вдавился спиной в снег, чтобы дать ей возможность протиснуться. Она протиснулась, правда с большим трудом, проехав, при этом грудью по его лицу. Из Фиминых глаз брызнули слезы, и он стал губами ловить ускользающую грудь, больно царапаясь о металлические пуговицы гимнастерки. И тогда Циля, набрав побольше воздуха, придавила его лицо своей грудью так, что осталась торчать лишь шапка-ушанка. и процедила сквозь зубы:

– Прочь с дороги, Шляпентохес!

Это было сказано по-русски. Но фамилию Фимы Циля произнесла по-литовски. Как известно, по-литовски ко всем фамилиям прибавляется окончание – ес. Все нормально. Ни к чему не придерешься. Но дело в том, что фамилия Шляпентох, будучи произнесенной по-литовски, получила совершенно непристойное звучание на языке идиш – родном языке литовской дивизии. Тохес на идише – это задница. И вся фамилия при таком окончании переводилась примерно так: «Шляпа на жопе». А без окончания «ес» фамилия Фимы звучала вполне пристойно: «Платок на шляпе». Даже ребенку понятно, что «платок на шляпе» – это совсем не то же самое, что «шляпа на жопе».

Когда Циля Пизмантер произнесла при всех фамилию Фимы по-литовски, его любовь улетучилась и в мгновение ока перешла в свою противоположность – ненависть.

Ударить женщину было не в привычках Шляпентоха. Во-первых, потому, что он получил хорошее воспитание в приличной еврейской семье, а во-вторых, он до сих пор не имел общения с женщинами и потому не знал правил обращения с ними. И вообще, попробуй он тронуть Цилю пальцем, она бы просто оставила от него мокрое место. Они были в разных весовых категориях, и разница эта была не в Фимину пользу. А кроме всего прочего, над ним довлела ревнивая и грозная тень подполковника Штанько.

Растоптанное чувство, умирая в судорогах, взывало к мести. И на помощь поверженному в прах Шляпентоху пришел верный друг и фронтовой товарищ, рядовой Моня Цацкес. Моня придумал план мести и вполне безопасный для мстителя, и убийственный для объекта мщения. Фима выслушал в подробностях весь план, и в глазах его, уже совершенно угасших, снова затеплился огонек жизни.

На земляных брустверах вдоль ходов сообщения намело большие сугробы, и снег сверкал как сахарный. Ночью, при слабом свете луны, на коротком отрезке между блиндажом узла связи, где обитала старший сержант Циля Пизмантер, и штабным блиндажом, служившим одновременно квартирой командиру полка, вылезли из окопа не замеченные часовыми две тени. Одна – высокая, другая – короче и шире. Фима Шляпентох и Моня Цацкес, расстегнув шинели и пошарив в ширинках, стали мочиться в две струи на гладкую сахарную поверхность сугроба, прожигая в нем удивительные рисунки. Так как незадолго до этого, по хитрому плану Цацкеса, они разжились в медсанбате и проглотили один – таблетку красного стрептоцида, а другой – еще какой-то гадости, то рисунки у Мони выходили кроваво-красного цвета, а у Фимы – ядовито-зеленого.

В результате на снегу остались выведенные аккуратным почерком полкового писаря зеленые слова: Циля Пизмантер. А чуть дальше горела красная стрелка с накопчиком и оперением, указывающая на блиндаж командира полка. Чтобы всякому было ясно, где проводит свои ночи жестокосердная Циля.

Утром штабная команда и солдаты хозяйственного взвода потешались у этой надписи, закупорив ход сообщения. Циля Пизмантер со свекольными от гнева щеками выскочила на брустер и стала истерично топтать снег сапогами. И едва не погибла. Немецкий снайпер выстрелил по этой крупной мишени и промазал всего на сантиметр. Циля рухнула в окоп на головы солдат, чуть не контузив сразу нескольких человек, и, под жеребячий гогот, исчезла в своем блиндаже, откуда не высунула носа даже во время раздачи пищи.

На следующее утро рядом с растоптанной надписью снова горели на сугробе два ядовито-зеленых слова Циля Пизмантер, выведенных каллиграфически, с элегантным наклоном и завитушкой на конце. И красная указательная стрелка.

Циля не повторила своей оплошности и не вылезла на брустер, но, растолкав солдат, принялась строчить по сугробу длинными очередями автомата ППД, считая букву за буквой своего имени и фамилии.

Третьей ночью рядовые Цацкес и Шляпентох напоролись на засаду и были взяты с поличным, когда вылезли на брустер. Их, с незастегнутыми ширинками, доставили в штаб полка.

Подполковник Штанько поначалу хотел придать делу политическую окраску и направить обоих в контрразведку к капитану Телятьеву, но, поостыв и прикинув, что его имя также может фигурировать в этом деле, решил провести дознание сам.

Без шинелей, в распоясанных гимнастерках – ремни у них отобрали при аресте, – стояли Цацкес и Шляпентох посреди штабного блиндажа. Прямо перед ними зловеще мерцал при свете фонаря «летучая мышь» бритый череп подполковника Штанько. Сбоку сидела на табурете пострадавшая – старший сержант Пизмантер – и тяжело вздыхала, глотая слезы, отчего грудь ее вздымалась и опадала, как морская волна. Протокол вел старший политрук Кац, присутствовало еще несколько штабных офицеров. Все – члены коммунистической партии. Беспартийные не были допущены в блиндаж. Если не считать самих обвиняемых.

И старший политрук Кац потом был очень доволен, что по его настоянию присутствовали только коммунисты, потому что обвиняемый, рядовой Шляпентох, в свою защиту выдвинул очень сомнительные политические аргументы, которые могли быть неверно истолкованы беспартийной массой.

На дознании Шляпентох вдруг проявил отчаянную агрессивность, полностью излечившись от недавнего почтения к старшим по званию. Он категорически потребовал, чтобы его называли и числили в документах Шляпентохом, а не Шляпентохесом. Потому что он не литовец и не литовский еврей, а в Литовскую дивизию попал в качестве жертвы политических махинаций сильных мира сего. Он родился и провел всю свою жизнь в городе Вильно, который при его рождении был русским городом и входил в состав Российской империи. Когда Шляпентоху исполнился один год, Вильно стал польским городом. Когда же ему, Шляпентоху, исполнилось двадцать лет, Сталин и Гитлер разделили Польшу. И Советский Союз передал Вильно литовцам, чтоб подсластить пилюлю грядущей оккупации. Не успел Фима стать литовским гражданином, как советские танки вошли в Ковно. А еще через год и Ковно, и Вильно были заняты немцами. И теперь он, рядовой Шляпентох, воюет за освобождение своего родного города, хотя точно не знает, в чьих руках окажется Вильно после войны. Посему он требует, чтобы его фамилия писалась и произносилась, как это принято по-русски и по-польски. Товарищ Шляпентох – пожалуйста, пан Шляпентох – с моим удовольствием, но ни в коем случае не драгас⁴ Шляпентохес!

Когда Шляпентох умолк, в штабе наступила недобрая тишина. Даже Циля Пизмантер перестала хлюпать носом. Где-то над крышей блиндажа чуть слышно, словно дятел, постреливал короткими очередями ручной пулемет.

– Высказался? – поднялся над столом командир полка и грозно уставился на Шляпентоха. – Вот кого мы пригнали при штабе! Слыхали, товарищи? Гитлер и Сталин поделили Польшу? Нашего любимого вождя и верховного главнокомандующего этот вражеский элемент поставил на одну доску с немецко-фашистским фюрером! Что за это полагается? По законам военного времени?

И тут произошло то, чего никто не ожидал.

Фима Шляпентох, в распоясанной гимнастерке, рванулся к Циле Пизмантер, протянул к ней руки и, трагически заломив брови, сказал звонко и вдохновенно:

– Прощай, Циля! Я умираю за тебя... Прощай, моя любовь...

И рухнул перед ней на колени.

Такого в Цилиной жизни еще не было. Никто не говорил ей таких красивых слов, никто не собирался умирать за нее. Такое она видела один раз в жизни – в театре, и до слез завидовала героине спектакля. Теперь этой героиней стала она сама.

– Идиоты! – закричала Циля и тоже рухнула на колени, чуть не придавив Шляпентоха; обняла его стриженую голову, прижала к своей груди и запричитала в голос: – Кого вы судите? Этого невинного младенца? Этого ребенка с чистой душой? И кто судит? У вас когда-нибудь повернулся язык сказать женщине такие слова? Такие красивые

⁴ Товарищ (литовск.).

слова? У вас на языке только мат, а на уме – одно и то же. Что, я не права?

Этот вопрос имел прямое отношение к подполковнику Штанько, и он решительно распорядился:

– Убрать из штаба эту дуру!

Циля поднялась с колен, тяжело дыша, подошла к подполковнику и сказала:

– От дурака и слышу!

И плюнула на его бритый череп.

Именно поэтому старший политрук Кац, хоть в душе и ликовал от злорадства, был очень доволен, что не допустил в блиндаж беспартийных. Он выхватил из кармана носовой платок и бросился к командиру полка, чтоб вытереть плевки с бритой макушки. Но Штанько оттолкнул его локтем:

– Отставить! Не касайся. Все вы – одно племя!

Он рукавом вытер голову и остановил свой тяжелый, немигающий взгляд на распоясанных солдатах.

– В штрафной батальон обоих! Пусть кровью поплюют! – И добавил, подумав: – Во славу нашей Советской Родины.

Охота за «языком»

Рядовые Цацкес и Шляпентох сидели в ожидании трибунала в своем собственном блиндаже, превращенном во временную гауптвахту. Там же, под нарами рядового Цацкеса, в вещевом мешке, лежало свернутое в рулон знамя полка, о котором впопыхах забыли. А так как командир полка головой отвечал за сохранность знамени, то можно считать, что в вещевом мешке рядового Цацкеса дожидалась своей участи голова подполковника Штанько.

Как коммунист-интернационалист подполковник Штанько лично распорядился, чтобы охранять заключенных поставили не евреев, а исключительно литовцев и, еще лучше, русских. Во избежание панибратства по национальному признаку.

Это, однако, не помешало старшему сержанту Циля Пизмантер беспрепятственно войти в контакт с заключенными. Вернее, с одним из них – рядовым Шляпентохом. Часовые знали, какой властью обладает ППЖ, и не отважились ей перечить. После двух дней размолвки она снова ночевала у командира полка, и наутро третьего дня с независимым видом прошла мимо часовых в блиндаж, где томились арестанты. Она принесла Шляпентоху гостинцы: бутерброд со сливовым повидлом и банку американского сгущенного молока. Циля запретила Шляпентоху делиться гостинцем со своим товарищем и велела ему съесть все при ней. Пока Фима, пряча глаза от Мони, уминал бутерброд, с бульканьем запивая сгущенным молоком, Циля Пизмантер, расставив толстые колени, сидела напротив и, подперев щеку ладонью, смотрела на него вдохновенными глазами мамы, получившей свидание с арестованным сыном.

Циля принесла новость: под ее нажимом командир полка отменил приказ. Но с одним условием: они должны либо кровью, либо героическим поступком смыть позор и восстановить свою честь. А заодно и честь старшего сержанта Пизмантер.

– Мальчики, послушайте меня, – со вспыхнувшим румянцем заговорила Циля, на сей раз обращаясь и к Цацкесу тоже, – вы совершите подвиг. Вы докажете этому анти-семиту, что евреи тоже могут быть героями.

Циля еще больше зарделась, и прыщики у нее на лбу поблекли.

– Вы знаете, что вы сделаете? Вы захватите «языка»... Приведите живого немца! Желательно с важными документами. И вас представят к правительственной награде... О вас узнает вся страна!

Арестанты, переглянувшись, загрустили. От лица обоих осторожное заявление сделал рядовой Цацкес:

– А если не выйдет? Ну, скажем, нам не удастся захватить живого немца! Ведь живые немцы на улице не валяются.

Гнев и презрение во взгляде старшего сержанта прожгли Моню:

– Тогда лучше не возвращайтесь. Вас отдадут под трибунал.

– Кто спорит? – пожал плечами Цацкес. – Раз Родина требует подвига, будет подвиг.

– Вот это другой разговор, – сменила гнев на милость Циля и обратилась к Шляпентоху: – Ты меня не подведешь. Я за тебя поручилась.

– Конечно, – согласился Шляпентох, не сводя с Циля обожающих глаз и слизывая языком сгущенное молоко с губ и подбородка. – Я сделаю все, о чем ты просишь... Скажи, ты будешь ждать меня?

Циля горячо кивнула.

– Тогда дай слово, что с ним, – кого Шляпентох имел в виду, поняли и Цацкес и Циля, – ты больше спать не будешь.

Циля опустила глаза:

– Я подумаю...

Не было никакого сомнения, что думать она будет в потных объятиях подполковника Штанько.

Получив сухим пайком продовольствие на два дня, рядовые Цацкес и Шляпентох надели поверх стеганых телогреек и ватных штанов белые маскировочные халаты, и, когда стемнело, вылезли из окопов родной Литовской дивизии, и по глубокому снегу поползли в сторону противника.

Партийный агитатор Циля Пизмантер с восторженно сияющими глазами проводила их на подвиг, после чего, озябнув на ветру в окопе, пошла отогреваться в теплый блиндаж командира полка.

«Двух мнений быть не может, мы ползем навстречу гибели, – думал Моня без особой радости. – И все из-за этого шлимазла, которого навязал Господь на мою голову».

Еще раньше, на формировании, когда Шляпентох с верхних нар искупал его в моче, рядовой Цацкес шестым чувством определил, что от этого малого ему так легко не отделаться и что впереди – куча неприятностей. Но такого печального конца даже он не предполагал.

О том, чтобы с таким напарником забраться в немецкий окоп и скрутить живого немца, не могло быть и речи. Шляпентох еще до немецких окопов выбился из сил, барахтаясь в снегу. Назад придется волочить не языка, а его самого. Кроме того, только идиот или злейший антисемит мог послать двух солдат с такими еврейскими физиономиями прогуляться по немецким тылам.

Старший политрук Кац явился к ним перед уходом на задание, как ксендз к умирающему, и изложил установку командира полка, как всегда ясно и недвусмысленно:

– Одно из двух. Или вы приведете «языка»... или... одно из двух...

Вернуться с пустыми руками – означало позорно погибнуть в штрафном батальоне. Пытаться взять живьем и притащить в полк немца – означало тоже погибнуть или, что еще хуже, попасть в плен. Еврею попасть живьем в немецкие лапы... Бр-р-р!

Между тем Фима, задыхаясь, с залепленным снегом, вспотевшим лицом, тоже размышлял:

«Она питает ко мне чувства. Иначе зачем ей было заступаться за меня? И не случайно она принесла такое вкусное сгущенное молоко... Вернусь с задания, категорически потребую, а я имею на это право: одно из двух! Или ты оставляешь командира полка... или...»

Рядовой Шляпентох от возбуждения стал мыслить в категориях старшего политрука Каца. О том, каким образом вернуться живым, он не размышлял, полностью полагаясь на своего боевого товарища Моню Цацкеса.

Рядовой Цацкес, как более опытный человек, рассудил, что суетиться им ни к чему, лезть на рожон – тоже. Продовольствия у них на двое суток, и этим временем, последними днями жизни, они могут распорядиться по собственному усмотрению. Но даже шлифованные еврейские мозги Мони Цацкеса не сразу придумали, как провести два дня между русскими и немецкими позициями, получив при этом хоть какое-то удо-

вольствие.

К счастью, неподалеку от немецких окопов лежал опрокинувшийся танк, который, словно крышей, накрыл глубокую воронку. Туда не добирался колючий ветер, и было не так холодно, как снаружи. А главное, там они были укрыты от чужих глаз и также от шальной пули или осколка снаряда. От них, Цацкеса и Шляпентоха, требовалось лишь одно: постараться не замерзнуть, пока не кончится продовольствие. А тогда они обнимутся покрепче, зароятся в снег и уснут вечным сном под вой русской вьюги.

Когда Моня выложил свой план, Фима Шляпентох ничего не возразил и только спросил:

– А как же Циля?

– Она будет рыдать всю жизнь, – сказал Цацкес и полез под гусеницы танка.

Фима съехал за ним в глубокую воронку, заметенную почти доверху мягким пушистым снегом. Они удобно, как в перину, погрузились в снег и, лежа на спинах, смотрели в нависший над ними ржавый борт танка.

Было тихо, как редко бывает на фронте. И лишь шипение взлетающих в мутное небо осветительных ракет нарушало могильный покой. Их неживой, дрожащий свет, то усиливаясь, то выдыхаясь, делал все вокруг призрачным, нереальным. Ветер завывал в дырявом боку танка.

Моня Цацкес разрядил гнетущую обстановку, с треском выпустив пулеметную очередь кишечного газа.

– Умирать, так с музыкой, – оправдываясь за не слишком джентльменское поведение, сказал он Шляпентоху, надеясь вызвать хоть подобие улыбки на его бледном как смерть кривом лице.

Шляпентох почему-то отозвался на чистом немецком языке, и Моня, ни разу не слышавший, чтобы друг изъяснялся по-немецки, был чрезвычайно удивлен. Он обернулся к Шляпентоху и снова услышал вопрос по-немецки, хотя Шляпентох при этом не шевельнул губами:

– Кто здесь?

Было ясно как божий день, что не Фима задал этот вопрос. Во-первых, он рта не раскрыл, во-вторых, уж он-то знает, кто здесь, в-третьих, он по-немецки ни в зуб ногой, в-четвертых...

Из открытого бортового люка танка высунулась рыжая голова в немецкой пилотке, натянутой на уши.

– Кто здесь? – в третий раз спросил немец.

Монин автомат лежал в стороне, и дотянуться до него не представлялось возможным. Шляпентох же просто не вспомнил об оружии, хотя автомат с полным диском покоился у него на груди.

– Вы – русские? – на ломаном русском языке спросила голова в пилотке, моргая рыжими, как у поросенка, ресницами.

– Мы – евреи, – по-немецки ответил Моня Цацкес, чтоб кончить этот дурацкий разговор и получить свою пулю сразу, без лишней болтовни.

– Евреи?! – не поверил немец. – Не может этого быть!

– Не веришь, – лениво огрызнулся Моня, – расстегни мне ширинку – и увидишь там самый верный документ.

– Я тоже еврей, – сказал немец. И глупая улыбка растянула его толстые губы до самых ушей.

Моня на это никак не прореагировал, отметив в уме, что если уж не везет, так не везет: мало им, что попали в плен, так еще недостает, чтоб их захватил свихнувшийся немец, который, прежде чем убить их, как положено поступать с евреями, сначала откусит им уши, нос и так далее.

– Я – еврей, ребята! – на чистом идише заорал немец и, свалившись из танкового люка прямо на Шляпентоха, стал целовать его в выгнуто-вогнутое лицо, плача и смеясь.

«Сейчас он выплюнет на меня Фимин нос», – похолодел Моня, с прискорбием убедившись, что его прогноз оказался точным.

Ему пришла в голову мысль: прыгнуть немцу на спину и придушить его прямо на Шляпентохе. Но кто знает, сколько их еще в танке? Перед смертью Моне было лень двигаться. Зачем? Чтобы осталось на земле одним немцем меньше? На том свете этого Моне не зачтут, потому что он, Моня Цацкес, постоянно нарушал почти все десять заповедей, ел трешку, и большими порциями, не соблюдал субботу и в синагоге последний раз был года за три до войны. И сколько бы немцев он ни перебил, мнение о нем уже давно составлено и пересмотру не подлежит.

– Я – еврей! – орал на идише сумасшедший немец. – Не верите – могу сам расстегнуть ширинку! Боже милостивый, это же надо, так удачно встретить своих!

Не слезая со Шляпентоха, он задрал голову и завопил в ржавый борт танка, видимо полагая, что за танком, в этих русских сугробах, пребывает еврейский Бог, который с отеческой улыбкой ему внимает:

– Шма, Исраэль! Адонай Элохейну, Адонай Эхад!⁵

Так истово произносить еврейскую молитву немец никогда не научится. Даже псих. А говорить на идише, как чистый литвак, – тем более. В голове у Мони наступило прояснение.

– Эй ты, малохольный, – дернул он немца за рукав. – Во-первых, слезь с человека, ты его почти задушил. Во-вторых, объясни толком, кто ты такой, как сюда попал и чему так радуешься?

Немец слез со Шляпентоха, рукавом шинели вытер слезу и продолжал на идише с такой скоростью и с таким приятным акцентом, как будто они сидели где-нибудь в Жежморах или в Тельшае после вечерней молитвы в синагоге и наслаждались праздной беседой.

– Для начала разрешите представиться, – сказал немец, стараясь успокоиться и делая глубокие вдохи и выдохи. – Моя фамилия Зингер. Зовут Залман. По немецким документам я Зепп Зингер. Обер-ефрейтор пулеметного взвода 316 полка 43 моторизованной дивизии. Родом из литовского города Клайпеда, в 1939 году присоединенного к Рейху под своим немецким названием – Мемель. Гражданская профессия – кондитер. Мой отец, Генрих Зингер, – владелец лучшей в городе кондитерской, и фирму «Генрих Зингер и сыновья» знали и в Литве, и в Восточной Пруссии за ее знаменитые штрудели и пончики с ежевичным вареньем...

Все это он выпалил единым духом, и Моня Цацкес прервал его, хлопнув от всей души по шее:

– Слушайте, Зингер, сейчас я вам верю, как своей собственной маме. Я же знаю кондитерскую «Генрих Зингер»! Я бывал там сто раз и аромат пончиков с ежевичным вареньем буду помнить до могилы. Меня зовут Моня Цацкес. Я сам из Паневежиса, но прожил год в Клайпеде, где окончил школу парикмахерского искусства фрау Тиссельгоф, а диплом ее, вместе с рамкой, до сих пор таскаю с собой.

– Школа фрау Тиссельгоф! – вскричал рыжий Зингер, в возбуждении переходя с идиша на немецкий. – Кто в Клайпеде не знал школу фрау Тиссельгоф? Вам очень повезло, герр Цацкес, – учиться в таком почтенном заведении. Я рад пожать вашу руку. А этот еврей, – он кивнул на так и не шелохнувшегося Фиму Шляпентоха, – тоже из Клайпеды?

– Таких в Клайпеде не держали, – отмахнулся Моня. – Он – из Вильно. Из довольно приличной еврейской семьи. Шляпентох. Не слышали?

– Виноват, не припомню, – вежливо улыбнулся Зингер не подававшего признаков жизни Шляпентоху, – но не сомневаюсь, что это очень почтенная фамилия.

Воздав таким образом должное Шляпентоху, два нечаянных земляка продолжили беседу, и Моня наконец решился задать тот вопрос, который все время вертелся у него на кончике языка:

– Теперь скажите мне, уважаемый земляк, почему на вас немецкая форма и что

⁵ Слушай, Израиль! Господь Бог наш. Господь единый! (еврейск.)

вы делали в этом танке? Прежде, чем мы совсем замерзнем, я хотел бы удовлетворить свое любопытство.

– О, это история! – воскликнул Зепп-Залман Зингер и поведал им, под завывание русской вьюги, от которой их укрывал дырявый бок немецкого танка, свои удивительные похождения, способные приключиться только с евреем. Слушая его, Моня Цацкес окончательно убедился, что он никакой не сумасшедший, а, наоборот, абсолютно нормальный человек, если, вообще, уцелевшего еврея можно считать нормальным.

Когда Гитлер в 1939 году присоединил к Рейху полунемецкую Клайпеду, молодой Зингер бежал оттуда в Каунас, а в 1940 году, когда Сталин захватил Каунас, он был призван в Красную Армию. В 1942 году, на реке Дон, немцы все же настигли Залмана Зингера – он попал в плен. В совершенстве владея немецким, на котором он лопотал с пеленок, и зная, как немцы поступают с евреями, Залман Зингер сменил свое имя на Зепп, как его звали в немецкой гимназии, и выдал себя за «фольксдойча» из республики немцев Поволжья. Он был рыжий и соответствовал всем признакам арийского нордического типа. Никому и в голову не пришло заглянуть к нему в штаны.

Зеппа Зингера выпустили из лагеря военнопленных и направили вольнонаемным рабочим в германскую армию. На кухне он удивил своих шефов мастерством кондитера и вскоре был назначен в штат поваров фельдмаршала Манштейна – командующего группой войск на Северном Кавказе.

Однажды Манштейн давал обед в честь высокопоставленных гостей из Берлина, и штрудели и пончики с ежевичным вареньем, изготовленные Зеппом Зингером, произвели неотразимое впечатление на берлинских гостей. Манштейн, как большой сюрприз, представил им фольксдойча из немцев Поволжья, изготовившего в полевых условиях это чудо кондитерского искусства. Гости наградили рыжего повара аплодисментами, а самый важный гость провозгласил тост в его честь, пояснив, что это прекрасный пример великой силы и явного превосходства германской расы. Подлинный германец, пусть даже в пятом поколении оторванный от фатерланда, сохранил среди славянских дикарей филигранный талант его предков.

С самыми лучшими рекомендациями Зепп Зингер был направлен в военную школу в Дрезден, откуда вернулся на Восточный фронт в звании обер-ефрейтора. Больше всего на свете он боялся встретить в армии какого-нибудь клайпедского немца, который, конечно, должен знать кондитерскую Генриха Зингера и легко опознает в обер-ефрейторе его сына Залмана. На прошлой неделе к ним в полк прибыл офицер, в котором Зингер, приглядевшись, узнал завсегдатая кондитерской своего отца. Тогда он решил бежать к русским, сдаться в плен и все рассказать начистоту. Он очень рад, что, выполняя свой план, попал к евреям, которые, несомненно, облегчат его участь. Потому что они, Цацкес и Шляпентох, смогут ходатайствовать за него перед русским командованием, подтвердив, что он – перебежчик и сдался им добровольно, без всякого сопротивления.

Зингер, в серо-зеленой немецкой шинели и пилотке, натянутой на зябнущие уши, волнуясь, ждал, что скажут эти два еврея в русской военной форме. Вернее, один. Шляпентох не участвовал в разговоре, однако именно он сумел оценить, какой подарок им послала судьба. У них в руках был «язык»! Живой и невредимый. И большой любитель поговорить. Какой и требовался начальству. Доставив его в расположение полка, Цацкес и Шляпентох спасали свою жизнь и вместо штрафного батальона попадали в герои. С последующим представлением к правительственным наградам.

Жизнь возвращалась к Шляпентоху, и он, развернув свой двухдневный паек, стал уминать его в один присест, справедливо полагая операцию законченной.

О том же самом думал Моня Цацкес, но к еде не притронулся. У него пропал аппетит, чего не случалось за всю войну. Моню Цацкеса грызла совесть. Он даже отвел глаза от этого еврея в немецкой форме, за счет которого им предстояло спасти свои жизни. В контрразведке не посмотрят, еврей он или турок, этот обер-ефрейтор Зепп Зингер, и, допросив с пристрастием, упекут в лагерь военнопленных куда-нибудь в Сибирь, где в окружении настоящих немцев и фашистов он вряд ли дотянет до конца

войны.

Моня должен был найти соломоново решение. Отпустить Зеппа Зингера на все четыре стороны, предварительно объяснив ему, как миновать советские передовые посты и скрыться в глубоком тылу, значило упустить единственный шанс выжить самим. Привести Зелмана как «языка» значило купить себе жизнь ценой жизни этого еврея. Сделать же так, чтобы обе стороны были довольны и остались в живых, не представлялось возможным. Кто-то должен пострадать.

Моня вспотел, несмотря на то, что с наступлением ночи мороз усилился. Шляпентох, глядя на его помрачневшее лицо, без слов понял, какие муки терзают Цацкеса, и сказал ему по-русски, что другого выхода у них нет и, пока не рассвело, надо успеть доставить «языка» в полк. На это Моня ответил, что в советах он не нуждается, что до утра еще далеко и что он, Цацкес, в жизни своей откровенных подлостей не делал и в дальнейшем намерен также придерживаться этого правила.

– Так что же делать? – страдальчески заломил свои бровки Шляпентох.

– Быть евреем, – посоветовал ему Цацкес.

– Пожалуйста, – согласился Шляпентох, – лишь бы не покойником.

Зепп-Залман Зингер переводил настороженный взгляд с одного на другого и стучал зубами от холода в своей тонкой немецкой шинели.

Быть евреем, по мнению Цацкеса, означало, в первую очередь, не быть дураком. По этому признаку старший политрук Кац, например, считаться евреем не мог. Шляпентох – с большой натяжкой.

Буря бушевала под черепной коробкой Мони Цацкеса. Мозговые извилины от натуги свернулись спиралями. А внешне он набычился, надулся, и Фиме Шляпентоху показалось, что он вот-вот снова испортит воздух.

– Который час? – вскричал Моня и, как после каторжного труда, смахнул рукавом маскхалата пот со своего лица.

Зингер оттянул рукав шинели и взглянул на часы:

– Половина первого ночи.

– Успеем, – сказал Моня. – Хочешь, Залман, жить? Возвращайся назад в свою часть.

Зингер застыл с раскрытым ртом.

– Да, возвращайся, и не медля. Чтоб успеть до утра вернуться сюда с настоящим немцем. Желательно офицером. Его мы возьмем как «языка», а тебя отправим в советский тыл, сменив предварительно твою форму на что-нибудь русское. Поболтаешь немного в тылу, а потом заявишь властям, что ты беженец из Литвы и у тебя украли документы. Понял? А теперь марш отсюда! И помни, мы ждем тебя назад не позже, чем через два часа.

Зингер оказался сообразительным малым. Ему не пришлось повторять два раза. Он полез наверх, под нависшие гусеницы, и бесшумно исчез.

– Он не вернется! – простонал Шляпентох. – А ты – идиот! Такой шанс упустил! Погубил и себя, и меня!.. Бедная Циля...

Зепп-Залман Зингер вернулся не через два часа, а через час двадцать минут. И приволок розовощекого упитанного капитана со связанными руками и кляпом во рту, который недоуменно таращил глаза на оберфрейтора Зингера и двух русских солдат с явно семитскими лицами...

Моня велел Залману и Шляпентоху раздеться до белья и поменяться одеждой. Шляпентох поломался, но подчинился, и, приплясывая босыми ногами на снегу, стащил с себя русское барахло, и поменялся с Зингером, облачившись в его немецкую серо-зеленую форму и сразу став похожим на пленного фрица, как их изображали карикатуристы в газетах. Взволнованный Зингер подарил Фиме свои часы – известной швейцарской фирмы Лонжин. Моня при этом подумал, что Шляпентох такого подарка не заслуживает, но вслух своего мнения не выразил.

Потом они поползли втроем, волоча за собой четвертого. Помогли Зингеру незамеченным пересечь советские позиции и, надавав ему кучу советов, расстались.

Немецкого капитана они доставили прямехонько в штаб полка. И подняли с постели самого подполковника Штанько, заодно перебив сон старшему сержанту Циле Пизмантер. «Язык» превзошел все ожидания и дал такие важные сведения, что сверху прибыло распоряжение немедленно препроводить его в штаб фронта. А заодно прислать список участников этой блестящей операции для представления к правительственным наградам.

Список прислали. И очень быстро. Кроме рядовых Цацкеса и Шляпентоха, в нем фигурировали командир полка подполковник Штанько, старший политрук Кац и старший сержант Циля Пизмантер. Моню и Фиму представили к почетной медали «За отвагу». Подполковника Штанько – к ордену Красной Звезды. Кац и Пизмантер довольствовались скромной медалью «За боевые заслуги».

Наверху список просмотрели и уточнили. Из него выпал рядовой Шляпентох, Цацкесу медаль «За отвагу» заменили на «За боевые заслуги». Награды Штанько, Кацу и Пизмантер утвердили без изменений.

Моня Цацкес хотел было возмутиться, устроить шум, подать рапорт начальству. Но тут его отвлекло другое событие. В полк прибыло новое пополнение, и с ним, в новенькой советской форме, рядовой Залман Зингерис, которого мобилизовал тыловой военкомат и направил как беженца из Литвы в Литовскую дивизию. Моня был так рад, увидев его живым и невредимым, что забыл про свои огорчения и целый день не разлучался с Залманом. Как будто близкого родственника встретил.

Кто закроет грудью амбразуру?

В один не самый прекрасный день на советско-германском фронте, и на том участке, который занимала совсем не Литовская дивизия, произошло событие. всколыхнувшее всю советскую страну до Тихого океана. Ничем до этого не примечательный человек, молоденький солдатик по имени Александр Матросов, сразу превратился в знаменитость. Почти в святого. В икону. Правда, он об этом уже не знал, потому что погиб. Его портрет со стриженной головой и грустными глазами смотрел со всех газет, со стен домов, школ, квартир и с листовок, которые политуправление советской армии распространяло среди личного состава вооруженных сил.

Что сделал Александр Матросов? Он совершил подвиг. Правда, судя по газетам, подвиги на фронте совершались каждый день и притом в массовом порядке. Тем не менее этот подвиг затмил все подвиги.

Александр Матросов закрыл своей грудью амбразуру вражеского дота. Не пустую амбразуру, а из которой торчал пулемет. И этот пулемет безостановочно стрелял, мешая наступать советской пехоте. Пехота залегла, не смея головы поднять. И тогда Александр Матросов подполз к доту, навалился грудью прямо на амбразуру, и пулемет захлебнулся, потому что все пули застряли в славной груди героя. Советская пехота воспользовалась передышкой, рванула вперед и с криком: «ура» водрузила красное знамя на крыше дота.

Александра Матросова товарищи застали бездыханным. Вокруг его стриженной солдатской головы посвечивало слабое сияние. Военнослужащие старших возрастов, которые прежде, до советской власти, верили в Бога, вспомнили, что такое сияние бывает только вокруг голов святых и называется оно нимбом.

Александр Матросову было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. Его имя загуляло по всем фронтам, партийные пропагандисты и агитаторы рвали глотки перед солдатами, призывая их повторить подвиг Александра Матросова.

В Н-ском подразделении Литовской дивизии, которым командовал подполковник тов. Штанько, не отставали от всей страны и тоже рвали глотки. С еврейским акцентом.

Особенно усердствовали старший политрук Кац и партийный агитатор старший сержант Циля Пизмантер. Солдат собирали в блиндажах, под тремя накатами бревен, где не так был слышен грохот артиллерии, и втолковывали им, как это славно – уме-

реть за Родину.

– Повторим подвиг Александра Матросова! – вбивал в стриженные солдатские макушки старший политрук Кац.

Циля Пизмантер повторяла то же самое, но у нее это получалось хуже. Она не выговаривала букву «р», а эта буква, как назло, повторялась и в имени и в фамилии героя.

Моня Цацкес вместе с другими отогревался в блиндаже, слушая вполуха, как его призывают повторить то, что сделал Александр Матросов, и со свойственной ему обстоятельностью думал, что толкать людей на подобные поступки, по крайней мере, бесхозяйственно. Ведь если все подряд солдаты повторят подвиг Александра Матросова, то Советский Союз останется без армии, и Германия выиграет войну. Правда, все амбразуры немецких дотов будут до отказа набиты русским мясом, но так ли уж это отравит немцам радость их победы?

Так думал Моня. Рядовой солдат. А в прошлом – рядовой парикмахер. Не гений и не полководец. Но начальство рассуждало иначе.

– Дадим своего Александра Матросова! – такой лозунг брошен был в каждом подразделении, и батальоны и полки соревновались, кто раньше выставит своего самоубийцу.

Литовская дивизия тоже хотела не ударить в грязь лицом. Здесь занялись поисками своего, литовского, Александра Матросова.

В Н-ской части, где командиром подполковник тов. Штанько, этот вопрос обсуждался в штабе. Под председательством самого подполковника Штанько. В присутствии командиров рот и батальонов, старшего политрука Каца и партийного агитатора старшего сержанта Циля Пизмантер. Рядовые на совещание не были приглашены: их дело выполнять решение совещания – лечь грудью на амбразуру указанного начальством дота.

И все же один рядовой присутствовал на этом совещании. Моня Цацкес. Подполковник Штанько давал руководящие указания, а Моня Цацкес в это время брил подполковничью голову. Так как уши у него не были заткнуты, он все слышал и запомнил гораздо подробнее, чем это было зафиксировано в протоколе, который вела старший сержант Пизмантер.

После обязательного общего трепса с непременно упоминанием имени товарища Сталина и славной коммунистической партии большевиков перешли к делу. Кому оказать доверие прославить полк? Кого из личного состава послать умирать на амбразуре дота?

Подполковник Штанько сразу предупредил совещание, что хороший человеческий материал он на это дело не пустит.

– Для такого подвига, – сказал он, сидя в кресле в белой чалме из мыльной пены, – большого ума не нужно. – И, подумав, добавил: – Нужна лишь горячая любовь к Родине. Ясно? Поэтому отбирайте из слабосильной команды, кто к строевой не годен.

– Совершенно верно, товарищ командир, – подхватил старший политрук Кац. – Есть предложение: пусть амбразуру вражеского дота закроет писарь Шляпентох.

Партийный агитатор Циля Пизмантер поставила кляксу в протоколе и, забыв, что она на совещании, допустила вольность – громко расхохоталась, отвлекая участников совещания заколыхавшейся грудью.

– Что вы в этом видите смешного, старший сержант? – вспыхнул старший политрук Кац.

– Ой, ой, он меня доведет до истерики. – Циля Пизмантер вытерла выступившие слезы. С некоторых пор и по некоторым причинам она ни к кому из старших офицеров, кроме подполковника Штанько, не проявляла положенного по субординации уважения.

– По-вашему, этот шлимазл Шляпентох может закрыть амбразуру дота? – Циля Пизмантер прищурилась и посмотрела на старшего политрука как на идиота. – Да он же физически не способен это сделать. У него слишком узкая грудь.

– Ну, если исходить из размера груди, – парировал старший политрук Кац, – то лучшего кандидата в герои, чем вы, не найти во всей дивизии. Вы, Пизмантер, можете заткнуть сразу две амбразуры.

В полку блюлась военная тайна. У личных отношений тайны не было. И офицеры, пряча улыбки, ждали, как поступит командир полка, чьей фаворитке публично бросили вызов.

Подполковник Штанько с вафельным полотенцем на шее и с мылом на голове, как и все присутствующие, смотрел на распиравшую гимнастерку грудь старшего сержанта и, по глазам видать, тоже прикидывал, можно ли этой грудью заткнуть сразу две вражеские амбразуры.

Циля Пизмантер ждала от него мужского поступка.

– Разговорчики, понимаешь... – сказал Штанько совсем не по-мужски. – Дисциплинка хромает. Ближе к делу, товарищи. Какие будут предложения?

Старший политрук Кац попросил слова:

– Не забывайте, товарищи, что наша кандидатура должна отвечать всем политическим требованиям, служить олицетворением, так сказать, нашего советского человека...

– Иметь чистую анкету? Верно я понял? – уточнил подполковник Штанько. – Тогда бери моего парикмахера. Жертвую для общего дела.

Рядовой Цацкес тем временем старательно скоблил бритвой затылок подполковника. До него не сразу дошло, что в этот самый момент ему вынесли смертный приговор. А когда он осознал, что подполковник имел в виду его, Моню Цацкеса, бритва дрогнула в его руке, и подполковник поморщился от боли:

– Эй, Цацкес, не зарежь! Ты еще не Герой Советского Союза... посмертно.

– И не буду, – мрачно сказал Цацкес, нарушив субординацию.

– А если Родина попросит? – Подполковник скосил глаза на своего парикмахера.

– Не попросит.

– Почему ты так уверен?

– По двум причинам.

– Каким?

– Политическим.

– Ух ты какой! – заиграл бровями подполковник Штанько. – Политически грамотный. Ну, растолкуй нам, дуракам, почему тебя нельзя послать на героическую смерть и какая из этого выйдет политическая ошибка.

– Во-первых, – Моня спрятал свою бритву и указательным пальцем правой руки загнул левый мизинец, – у меня не чистая пролетарская биография. Я был буржуй. Эксплуататор, как справедливо говорит на политзанятиях наш агитатор товарищ Пизмантер. У меня в парикмахерской были два подмастерья, и я их жестоко эксплуатировал. Я же не знал, что к нам скоро придет советская власть, а то бы я с ними был мягче. Но что было, то было, и правду скрывать от советской власти не хочу.

Участники совещания переглянулись, и лица их выразили полное согласие с доводами рядового Цацкеса. Особенно усердно кивал старший политрук Кац, который не мог допустить, чтобы человеку с нечистой пролетарской биографией доверяли такую героическую смерть.

– Во-вторых, – с нарастающим воодушевлением загнул Моня второй палец, нашей дивизии нужен литовский герой. А не литовский еврей. В Литовской дивизии продви надо уступать литовцам. Это будет политически правильно.

– Ай да Цацкес! – восхитился Штанько. – Мудер, брат. Ничего не скажешь. А какого литовца ты посоветуешь? Их-то у нас не густо.

– Я знаю! – вскочила Циля Пизмантер, и грудь подпрыгнула вместе с ней и еще долго колыхалась. – Почтаљон Валюнас. Он не строевой, его любой заменит. И биография чистая, что редко бывает. Из беднейших крестьян. Чистокровный литовец. Из Юрбаркаса. И хорошо будет выглядеть на портрете.

Старший политрук Кац ничего не смог возразить. Остальные одобрительно закивали. Кандидатуру Йонаса Валюнаса в Герои Советского Союза посмертно утвердили.

Дальше все шло как по нотам. Почтаљон Йонас Валюнас, человек простой и малоразговорчивый, принял новость без особой радости, по и прекословить не стал: надо, так надо. Все равно погибать. Так уж лучше умереть, как начальство прикажет.

Но Йонас выставил одно условие: дать ему перед смертью отвести душу – попить спирта вволю.

Просьбу уважили. Кое-что – выделил медсанбат, остальное добавил из своих личных запасов командир полка.

У Йонаса началась прекрасная жизнь. От несения службы его освободили. Полковые портные сшили ему по мерке новое обмундирование из офицерского сукна: предстояло делать фотографию для газеты – последний портрет героя перед совершением подвига. И потом это обмундирование будет хорошо выглядеть на похоронах. На кухне ему давали хлеба без нормы, отваливали тройную порцию супа и добавляли мяса из офицерского котла. Йонас разгуливал как именинник по расположению полка – сыт, пьян и нос в табаке. Пил он в одиночку, разбавляя спирт водой. Или на пару с подполковником Штанько, уже не разбавляя, а запивая спирт водой, чтобы уважить обычай командира.

Они запирались в штабном блиндаже, выставя всех посторонних, и совсем на равных, как два закадычных друга, хлестали спирт и коротали время в душевных разговорах.

– Вот я тебе, если честно сказать, завидую, – бил себя в грудь подполковник Штанько. – Я – командир полка, а звание Героя мне не светит. Ты – рядовой. извини меня, лапоть, а Золотая Звезда тебе обеспечена... Несправедливо это...

– Так точно... – соглашался почтальон.

– Тут, понимаешь, еврейчики норовили перехватить золотую звездочку. Забегали, запрыгали, а им – стоп! А ну, кыш отсюда! Хер вам, а не звезду героя! Наш человек получит! И тебя, понимаешь, русского человека, назначил.

– Я... не совсем... русский... – пытался уточнить Йонас Валюнас.

– Ну, литовец... – нехотя уступал Штанько. – Какая разница? Лишь бы не еврей. Не люблю... ихнего брата...

– И я, – охотно соглашался почтальон.

– А вот Родину – люблю!

– И я... – уже не так охотно соглашался почтальон.

– Давай выпьем!

– Давай.

Кроме рядового Йонаса Валюнаса, литовца, из беднейшего крестьянства, беспартийного, но уже подавшего заявление в партию, для повторения подвига Александра Матросова нужен был еще и дот. Вражеский. С амбразурой, расположенной так, чтоб ее было удобно закрыть человеческой грудью. И чтоб оттуда стреляли в это время. Иначе как награждать Валюнаса посмертно?

На всей линии противника перед расположением полка даже в бинокль не просматривался ни один дот, подходящий для совершения такого подвига. Правда, стоял на нейтральной полосе подбитый танк. На одной гусенице, без движения. Немцы иногда заползали туда и постреливали из пулемета. На худой конец, можно было лечь на этот пулемет и заставить его замолчать.

В тот день, когда этот танк подбили, командир полка, который, бреясь, любил порассуждать со своим парикмахером, сказал Моне:

– Слушал сюда, Цацкес. На нашем участке подбит немецкий танк. Один. Запомни. А кто стрелял по танку? Мы – раз. И послали рапорт выше: мол, один подбитый танк на нашем счету. Артиллеристы – два. И они послали рапорт. Один подбитый танк, мол, на нашем счету. Дальше. Бронебойщики – три. Тоже себе записали этот танк. Авиация бомбила? Бомбила. Значит, четыре рапорта пошло в ставку. Там суммируют: подбито четыре немецких танка. А в сводке читаем: пять! Дали круглую цифру.

Повторить, подвиг Александра Матросова Йонасу Валюнасу не довелось. Упился до белой горячки и едва не откусил ухо подполковнику Штанько. Командиру полка наложили повязку, и он из строя не выбыл. Рядового Валюнаса в связанном виде доставили в госпиталь, а оттуда быстренько спровадили подальше в тыл, в специальное лечебное заведение.

Старший политрук Кац собрался подыскивать замену Валюнасу среди полковых

литовцев, но тут на одном из участков советско-германского фронта был совершен новый подвиг, затмивший прежний, и из Политуправления последовала команда сделать его примером для каждого советского солдата. Удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза, рядовой Юрий Смирнов, попав в плен к врагам, был распят ими на кресте, но не выдал военную тайну.

У начальства появились новые заботы-найти достойного кандидата из литовцев, готового повторить подвиг Юрия Смирнова и гордо умереть на кресте.

Рядовой Моня Цацкес в эти дни старался на всякий случай не попадаться на глаза начальству.

Погоны

В последних боях полк понес большие потери, свежего пополнения не поступало, и командование выскребло резервы из всех щелей и отправило на передовую в поредевшие роты. Личный парикмахер командира полка и полковой знаменосец рядовой Моня Цацкес попал в минометную роту лейтенанта Брехеса. Туда же загремел и полковой писарь Фима Шляпентох.

Судьба не давала им разлучиться. А так как несчастья липли к Шляпентоху как мухи на мед, то Моня Цацкес уже не сомневался, что минометная рота лейтенанта Брехеса обречена.

Минометчики занимали позицию в самом неудобном месте – в болотистой низине, а противник сидел на господствующих высотах и расстреливал их по своему выбору, как на огневых учениях.

Стоял поздний февраль. Оттепель сменилась холодами. Зарыться глубоко в землю не позволяла вода, заполнявшая любую выемку ледяной болотной жижей. Окончательно добивал пронизывающий ветер.

Случись такое в мирное время, все евреи минометной роты во главе с лейтенантом Брехесом свалились бы с высокой температурой, захлебнулись от простудного кашля и соплей. Короче говоря, вышли бы из строя. А кое-кто отправился бы прямоком на кладбище.

На войне действуют свои законы. Они распространяются и на медицину тоже. Люди спали мокрые на пронизывающем ветру, и хоть бы один чихнул для приличия. Как деревянные. За исключением рядового Шляпентоха. На его вогнуто-выгнутом узком лице и на цыплячьей шее высочили фурункулы фиолетового цвета и в таком количестве, что их могло бы хватить на полроты.

Он тяжело страдал. Не меньше тех, кто был ранен немецкими осколками и оставался в строю, потому что эвакуировать раненых в тыл не представлялось возможным – противник держал все линии сообщения под постоянным огнем. Даже по ночам. Освещая мертвым дрожащим светом ракет болотистое пространство до самого штаба полка.

Минометчики остались без боеприпасов. Стволы ротных минометов сиротливо разевали в февральское небо голодные рты – на позиции не осталось ни одной мины. Израсходовали даже неприкосновенный запас. В винтовках – по обойме патронов. Курам на смех, если немцы вздумают атаковать. Да еще у лейтенанта Брехеса сохранилась граната-«лимонка», которую он приберег на случай безвыходного положения, чтоб взорвать себя и кто еще пожелает из евреев.

Несколько попыток доставить на позицию боеприпасы кончились плачевно. Солдаты, которые волокли из тыла ящики с минами, остались лежать в болоте, простроченные пулями, как стежками швейной машины.

Продовольствие кончилось еще раньше боеприпасов.

Небритые, грязные минометчики, продрогшие до костей в своих мокрых шинелях, заполняли желудки болотной гнилой водой. И тоже не болели. За исключением Шляпентоха.

Немцы могли бы взять позиций минометной роты голыми руками, но не решались

на такую глупость: тогда они сами бы очутились под огнем.

Не видно было конца этой муке. Каждый божий день командир роты вычеркивал из списков новых убитых и умерших от ран и по привычке снимал их с довольствия, хотя довольствия давно не было. Ни вещевого, ни пищевого. Никакого.

Единственная ниточка связывала роту с миром: тоненький провод полевого телефона тянулся по топким кочкам и замерзшей воде до полкового узла связи. Эта нитка приносила мало утешения. В основном по ней передавался простуженный, охрипший мат. В оба конца.

Правда, в последние дни мат все больше уступал место иным словам. Близился праздник – День Красной Армии. И политотдел дивизии направлял в роту весь агитационный материал устно – по проводу.

Из штаба сытыми голосами зачитывались бесконечные приказы командования, которые надлежало записать на бумагу и зачитать затем всему личному составу. Телефонист Мотл Канович по-русски писать не умел, а у лейтенанта Брохеса было достаточно других дел. Поэтому телефонная трубка лежала на бруствере окопа, скрипя и потрескивая. Из этих звуков можно было составить отдельные слова: Сталин... советский народ... во имя... до последней капли... торжества коммунизма.

Телефонист Мотл Канович сидел в сторонке и, чтобы отвлечься от мыслей о еде, штопал суровыми нитками дырку на рукаве шинели Моня Цацкеса. И Мотл, и Моня иногда косили скорбный еврейский глаз на шипящую трубку, потом друг на друга, и оба со вздохом пожимали плечами:

– А!..

Однажды к телефону потребовали Моню Цацкеса. Лично. Старший политрук Кац с того конца провода поздравил рядового Цацкеса с наступающим праздником и пожелал дальнейших успехов в боевой и политической подготовке.

Моне сразу стало не по себе. Как человек неглупый, он понимал: политрук Кац зря трепаться не станет, ему что-то нужно от Цацкеса. Предчувствие не обмануло Моню.

– Слушайте, Цацкес, – бодрым голосом сказал старший политрук Кац. – Мы решили оказать вам большую честь. И принять в славные ряды нашей коммунистической партии.

В трубке стало тихо. Только потрескивало слегка. Это политрук сопел в ожидании ответа.

– Больше ничего вы не решили?

– А что, этого мало? – удивился Кац. – Цацкес, вы должны радоваться и благодарить за доверие... Мы тут... в связи с обстановкой... ваша рота отрезана от штаба... решили принять вас заочно... И подготовили ваше заявление... Могу зачитать, если хотите.

– Читайте, – вздохнул Моня.

Его клонило в сон, и он не все слышал из того, что бубнил по проводу политрук:

– ...дело Ленина – Сталина... окончательную победу над врагом... если погибну в бою... прошу считать меня коммунистом...

– Пойдите, Кац, – встрепенулся Моня. – Почему вы меня хороните? А если я останусь жив?

– Тем более! – воскликнул Кац. – Я сам пожму вам руку и вручу партийный билет.

– Так куда вы спешите? Если я выберусь из этой дыры, я сам к вам приду, и мы поговорим по душам. Зачем такая спешка?

– Двадцать третьего февраля – день Красной Армии – большой праздник всего советского народа... Разве вам непонятно, Цацкес?

– Послушайте, Кац, я не могу вас перекричать. Потому что я – голодный, а чтобы иметь силы кричать, надо хоть что-нибудь подержать во рту. Так вот... Еще через год снова будет двадцать третье февраля. И, если, Бог даст, мы оба доживем до этого дня, вернемся к нашему разговору.

– С вами, Цацкес, будут разговаривать в другом месте...

– Вы имеете в виду на том свете?

– Нет, Цацкес, сперва еще с вами поговорят наши органы. Понятно?

– Понятно... Так как многих русских слов не знаю, то перейду на мамелошен⁶. Дорогой товарищ Кац, кус мир ин тохес⁷.

Рядовой Цацкес отважился на такую дерзость не потому, что был такой храбрый, а потому что был уверен: живым ему отсюда не выйти, а мертвому ни политрук Кац, ни все его органы ничего сделать не могли. И просчитался. Ровно через сутки рядовой Цацкес стоял по стойке «смирно» перед старшим политруком Кацем и командиром полка подполковником Штанько.

А случилось вот что. Осколок немецкого снаряда перебил провод, связь со штабом прервалась, и телефон замолчал, как убитый. Лейтенант Брехес послал Мотла Кановича найти повреждение и наладить связь. Бывший портной из Йонавы не сказал в ответ ни слова. Он сразу постарел на двадцать лет, и Моня подумал, что так, наверно, бывает с осужденными, когда они выслушивают смертный приговор.

Мотл неуклюже вылез из окопа и, упираясь локтями в жидкую грязь, пополз, держась озябшими руками за провод. С немецкой стороны раздался одиночный выстрел, и этого оказалось достаточно. Мотл Канович воткнулся лицом в воду по самые уши и больше головы не поднял.

– Хороший был портной. – Моня пощупал пальцем аккуратную штопку на рукаве своей шинели. – Но зато он больше хоть голодать не будет.

Лейтенант Брехес, усохший до того, что на его небритом лице остались одни близорные глаза – очки разбились, – достал из нагрудного кармана почерневший лист со списком личного состава роты и к густым рядам прочерков добавил еще одну неровную карандашную линию.

– Теперь совсем конец, – вздохнул он. – Если даже подохнем, никто не узнает.

Моня поднял на него глаза:

– Хотите, я пойду?

– Твое дело... – равнодушно ответил лейтенант.

– Но с одним условием, – сказал Моня. – Если исправлю линию и останусь жить – назад не вернусь. Поползу в тыл, чтобы чего-нибудь пожрать.

Лейтенант Брехес не ответил. Он только судорожно глотнул набежавшую слюну, и кадык на его заросшей щетиной шее прыгнул вверх и вниз, как рукоятка затвора винтовки, когда ее ставят на боевой взвод.

Моня порывлся в оставшемся от покойного телефониста хозяйстве, сунул в карман плоскогубцы, кусок провода, изоляционную ленту и вылез из окопа.

То ли немецкие наблюдатели проспали, то ли снайпер пулю пожалел, но Моня добрался до обрыва на линии, подтянул оба конца и соединил их, обмотав лентой.

Он приполз в расположение штаба грязным как черт, и его повели на кухню, где по личному приказу командира полка выдали недельный паек. Моня съел все, без остатка. И там же, на кухне, у теплого бока полевого котла, уснул как был, в мокрой шинели: с недельной щетиной на лице. Десятки солдат, гремя котелками, приходили на кухню, перешагивали через спящего и галдя уходили, а он ничего не слышал... Лишь дважды во сне звучно испортил воздух. Один раз при солдатах, и это ему сошло с рук. Во второй раз – в присутствии старшего политрука Каца. Политрук велел разбудить его. И доставить в штаб. К командиру полка.

Не прочухавшись после короткого сна, мучаясь изжогой, рядовой Цацкес вяло козырнул подполковнику Штанько, вышедшему ему навстречу. Всегда гладкая, бритая голова командира полка поросла серым ворсом – сказывалось отсутствие парикмахера.

– Виноват, товарищ командир, – покорно сказал Моня.

– Чем это ты провинился? – вскинул брови подполковник Штанько.

⁶ Родной язык (идиш).

⁷ Поцелуй меня в зад (идиш).

– У него спросите... – кивнул на политрука Моня.

– Мне нечего спрашивать. Ты – герой, Цацкес. В трудных условиях, под огнем противника, наладил связь. В честь Дня Красной Армии. Молодец!

Потом подошла начальник узла связи старший сержант Циля Пизмантер и от имени связистов полка с чувством пожала Моне руку, упершись в него грудью. Но Моня этого не почувствовал. Он спал стоя. С открытыми глазами.

Моня видел все как во сне. У всех штабных почему-то были на плечах погоны. У подполковника – золотые, а у остальных – суконные, защитного цвета. Это было смешно. Потому что погон в Красной Армии никогда не носили. Погоны были только у противника.

Но чего человеку не приснится? Особенно когда он спит стоя.

Возвращаясь в роту, – услышал он голос командира полка. – Отнесешь товарищам подарки к празднику.

На Моню навьючили тяжелый мешок и вытолкнули в озаренную ракетами холодную ночь.

Противник засек его на полдороге. Застрочил пулемет, подняв фонтанчики грязи у Мониного лица. Ударил немецкий миномет, и Моню обдало холодной водой. Осколки мягко чавкали в болотной жиже.

– Моня! Цацкес! – орали осипшими голосами минометчики, словно они могли криком уберечь Моню и его драгоценную ношу от прямого попадания.

Моня не помнил, как свалился в свой окоп. Солдаты нетерпеливо сорвали с его плеч мешок, не стали развязывать, а вспороли ножами. Посыпались в грязь связки политических брошюр и разноцветных листовок. На дне мешка лежали связанные попарно мягкие зеленые погоны, которые предписывалось надеть на плечи всему личному составу в канун праздника – Дня Красной Армии.

Погонов прислали вдвое больше, чем в роте осталось плеч. В штабе не учли убыль личного состава.

Погоны парами сыпались из мешка в грязь. Никто их не поднимал. Из траншей минометной роты, как салют наступающему празднику, устремился к небу многоголосый голодный вой. Чуткое ухо могло в нем различить нотки еврейского акцента. И литовского. И татарского. И других братских народов СССР.

Позвонили из штаба, и старший политрук Кац стал зачитывать праздничный приказ Верховного Главнокомандующего. Телефонная трубка валялась на бруствере, изрыгая в хмурое небо булькающие звуки. Немецкий снаряд угодил совсем близко, трубку вырвало с куском провода, как с корнем, и зашвырнуло далеко в болото. После чего стало тихо.

Предсказатель судеб

Знаете ли вы, что это такое, когда воинскую часть отводят с передовой на отдых и пополнение? Это значит, что от части остались ее номер и знамя, поредевший штаб да считанные единицы личного состава. Воинское подразделение в таких случаях почти полностью формируется заново, получает новую материальную часть, а уцелевшие ветераны знают все друг друга в лицо и по имени.

Н-скую часть под командованием подполковника Штанько отвели с позиции на отдых. Роты, насчитывавшие меньше бойцов, чем укомплектованные взводы, расположились в деревнях русской равнины, по которой прокатилась война и, подобрав последних мужчин, ушла на запад.

В деревнях остались бабы. Молодые, старые. И дети. Не по годам серьезные, угрюмые. Как маленькие старички. Босоногие. В странной одежде, перешитой из немецкого и русского обмундирования, которое матери по ночам стаскивали с убитых солдат.

Да и деревни только назывались деревнями на топографических картах. На самом деле это были сплошные пепелища: кирпичные фундаменты, несколько обгоре-

лых бревен на земле и сиротливая русская печь с закопченными от пожара боками. И так целые улицы – одни печи под открытым небом.

Деревенские жители зарылись в землю. Ютились в погребах. В наспех вырытых землянках без окон и света. Пищу грели на кострах. В солдатских котелках, а иногда и в касках.

Солдаты Литовской дивизии разместились по всей округе, вызывая своим чудным коверканьем русских слов насмешливое любопытство местных вдов и девок. В деревнях запахло мужским духом, и бабий сон стал беспокоен, как в забытые девичьи годы.

Отведенных на отдых солдат кормили по самой последней норме. Так что долго в тылу не засидишься. Подведет брюхо – сам запросишься на фронт.

Между тем как ни бедны были деревенские бабы, а все же у каждой, глядишь, найдется зарытая в землю картошечка, припрятанный мешок муки, под нарами, где спят вповалку дети, хрюкает молочный поросенок.

Вечно голодному, отощавшему до костей солдату трудно устоять перед таким соблазном и не поживиться у сердобольных баб.

Моня Цацкес не одобрял поведения своих шустрых однополчан, норовивших набить брюхо вареной картошечкой и тут же лезть к бабе под одеяло. Ведь у многих из этих баб мужья где-то тянули солдатскую лямку. А спать с женой фронтовика Моня считал самым последним делом.

Моня тоже был не ангел. Жрать ему хотелось не меньше, чем другим. И бабы на него поглядывали из-за уцелевших плетней с не меньшим интересом, а даже с большим. Состоя долгое время в личных парикмахерах командира полка, а также в полковых знаменосцах, Моня сохранил привилегию, отличавшую его от всего рядового состава – у него была шевелюра. Густые черные волосы, чубом нависавшие на лоб. Это бабам очень нравилось. Да и скроен был Моня крепко, на деревенский вкус. Хоть и тоже отощал с голодухи, но костей в нем было много и силы – не занимать.

Он нашел свой способ подкормиться у баб. Но способ не воровской, а честный. Во всяком случае, так ему казалось. И надоумили Моню сами бабы.

Шел он как-то по деревне. Возле погреба две бабы что-то варили на костре.

– Глянь-ка, цыган! – толкнула одна другую в бок. – Ну, чистый цыган!

Видно, баб сбили с толку жгучие черные волосы, спадавшие на его лоб. Евреев в этих краях отродясь не видывали.

– Эй, цыган! Гадать умеешь?

Моня остановился. Хотел было посмеяться вместе с бабами, но что-то удержало его.

– Как не уметь? – подхватил он. – Тот не цыган, кто гадать не умеет.

– И всю правду скажешь?

– Таким красавицам соврать – язык не повернется.

– Батюшки! – всплеснули руками бабы. – Так погадай нам! За всю войну первый цыган попался. Погадай, добрый человек. Мы тебя не обидим. Покушаешь с нами.

– Я бы с удовольствием... – сказал Моня. – Да вот служба... времени в обрез. И карт с собой нету... В другой раз.

– Ну гляди, не обмани. Мы ждать будем.

И Моня их не обманул. Обменял на станции запасную бритву на трофейные игральные карты, никому из солдат ни слова не сказал, опасаясь насмешек, и появился снова в деревню.

Бабы узнали его.

В погребе, при керосиновой лампе, Моня раскидал карты на патронном ящике, служившем вместо стола. Бабы затаили дух.

– Предстоит дорога, – после долгого раздумья изрек он, радуясь, что здесь были одни бабы и нет мужиков. А то ведь и побить могли бы.

– Мне дорога? – удивилась молодая, в платочке, крестьянка. – Куды ж мне ехать? Я – дома.

– Не тебе ехать, – пояснил Моня, – а к тебе едут... Кто-то к тебе бьется...

– Кто? – пересохшими губами прошептала она.

– Тебе лучше знать... – осторожно намекнул Моня. – Одно вижу, он в военной форме... И... хромает.

Баба издала странный звук и грохнулась навзничь. Без памяти.

– Чего нагадал-то, чудило? – накинулись на Моню остальные бабы. – Муж ейный уже с год как убитый. Похоронку получила.

У Мони на лбу выступил пот.

– Дайте ей воды... – смущенно сказал он. – И не мешайте мне гадать... раз по-звали.

Бабу привели в чувство, и она залилась слезами.

Моня сделал строгое лицо.

– Не верь извещению, – авторитетно сказал он. – Врут они часто. А карта не врет... Бьется к тебе военный человек... – И ляпнул наугад: – Блондин.

– Бабоньки! Захар – живой! – закричала хозяйка, и на нарах в голос заплакали дети. – А почему хромает? Раненый, небось?

– Точного ответа карта не дает, – наморщил лоб Моня. – Но... кое о чем можно догадаться... Лекарства... Бинты... Точно! В госпитале он. Ранение в ногу... Не тяжелое.

Последние слова потонули в ликующем бабьем реве. Голосили все хором.

Моня сохранял невозмутимый вид. Его дело, мол, всю правду сказать, а их дело – переживать от этого.

Его не отпускали до поздней ночи. Затащили еще в две или три землянки. И там он гадал, вселяя в души женщин слабую, но все же надежду на благополучное возвращение мужчин. Одарили его по-царски: котелок вареной картошки в мундире, два ломтя соленого сала с прожилками мяса и краюху хлеба из овсяной муки пополам с отрубями.

Моня вернулся в полк Ротшильдом. Угостил салом и хлебом Фиму Шляпентоха, а полкотелка картошки отнес командиру роты лейтенанту Брехесу. Чтоб, когда понадобится, без лишних хлопот увольнение получить.

В увольнение Моня стал проситься чуть не каждый вечер. Спрос на его гадание был велик – слух о цыгане загулял по деревням. Деревенские бабы посылали за Монею седобородых стариков, чтоб начальство не думало, будто у Мони завелась краля. И Моня шел за стариками по размытым дорогам, мимо сожженных деревень, перебирался по взорванным мостам через весенние речушки. И гадал. Гадал. Никому не отказывал.

В его пророчествах, кроме скорого возвращения мужей, раненых, но не очень тяжело, бабам нравилось еще одно предсказание, которое он повторял во всех деревнях. Сытый, накормленный, в постиранной гимнастерке, он, сморщив лоб, глядел в свои замусоленные карты и уверенно предрекал очередной бабе:

– Богатство тебя ждет!

– С чего это мне богатеть? – недоверчиво хмыкала та. – На колхозный трудовень не больно разживешься. При немцах как ни худо было, но землю разделили, хоть малость попользовались. А пришли наши – снова в колхоз загнали. Какое уж тут богатство! Не до жиру – быть бы живу.

– Глупая ты баба, – с укоризной смотрел на нее Моня Цацкес. – Болтаешь, чего не знаешь. Ты в карты посмотри.

Бабы дружно склонялись над картами, ища в них сокровенный смысл, и долго сопели, сойдясь лбами.

– Продолжаем, – возвращал Моня баб на свои места. – Вот эта карта нам что говорит? Быть большим переменам. А эта? Вернут тебе все твое, и быть тебе, баба, при больших деньгах.

– Колхозы распустят? – с затаенной надеждой шептали бабы.

– Я ничего не сказал, – обрывал их Моня и, выдержав солидную паузу, добавлял: – Карты говорят.

Бабы начинали сиять как самовары. Игриво прикладывали палец к губам: дескать, все и так понятно. А лишнего болтать не след. Пока не выйдет указ правительства.

Моня кормил всю роту. О том, каким путем он добывает продовольствие, скоро стало известно, но дальше роты разговоры не пошли: солдаты боялись лишиться такой щедрой прибавки к казенному пайку. Моню освободили от занятий по строевой подготовке, другие чистили его оружие, а когда он спал, похрапывая от сытости, солдаты ходили на цыпочках и разговаривали вполголоса. Лейтенант Брехес иногда посылал с ним Фиму Шляпентоха со строгим наказом не переться в землянки, а дожидаться цыгана Моню на дороге, чтобы помочь донести деревенские дары до расположения роты.

Моня не испытывал угрызений совести при виде светящихся от ложной надежды измученных женских лиц. Он приносил людям временную радость. А дальше – не его дело. Жизнь покажет. Вдруг что-нибудь из его предсказаний сбудется?

Моню Цацкеса, как своего, близкого человека, привечали в деревнях. Старики, завидев его, здоровались первыми. У этого цыгана была репутация человека серьезного, не бабника, что было редкостью.

Только раз за все время, что полк стоял на отдыхе, согрешил рядовой Цацкес. Но можно ли это назвать грехом?

В сумерках, покидая деревню, он на развилке повстречал женщину. Она стояла у обочины, словно поджидая его. Одета была в стеганый ватник и немецкие сапоги. Должно, с убитого сняла. На голове платок. Выглядела лет за тридцать, если б не глаза на курносом скуластом лице. Совсем молодые глаза. По всему видать, из тех девчат, что выскочили замуж перед самой войной и сразу стали вдовами.

Когда Моня поравнялся с ней, она несмело окликнула:

– Солдатик, а солдатик...

Моня остановился и глянул на нее. На ее лице была жалкая улыбка, а подбородок, под которым был стянут узлом платок, дрожал, как от сдерживаемого плача. Ей, видать, было очень худо, этой молодой бабе. Моня сошел на обочину, сочувственно посмотрел ей в лицо.

Две слезы выкатились из ее глаз, побежали неровными бороздками вдоль короткого носа.

– Сделай милость, солдатик, – прошелестели ее обветренные губы. – Возьми меня...

У Мони остановилось сердце. Боже ты мой! Какая страшная тоска, какое жуткое одиночество толкнули эту деревенскую женщину выговорить такое незнакомому мужчине?!

– Пошли, – только и сказал Моня.

Они отошли к кустам, молча постелили на холодную землю его шинель, в изголовье скатали ее ватник. Она отдалась ему, закрыв ладонью глаза, и слезы одна за другой текли из-под ее пальцев.

– Спасибо тебе, человек, – сказала она, поднимаясь с земли, и подала ему шинель, сперва отряхнув ее. – Может, сына рожу. Чего не бывает? И вырастет в нашей деревне мужик. А то ведь одни бабы остались.

Она не спросила его имени. Он ее тоже не спросил. Расстались без слов, и растворились оба в быстро густеющей тьме...

Скоро кончилась солдатская малина. И полк, дождавшись пополнения, зашагал на фронт. Была весна, дороги раскисли, солдаты с чавканьем вытаскивали ноги из вязкой грязи. Хуже всех приходилось минометчикам. Тащи на горбу пудовый ствол или, еще хуже, опорную плиту. Боеприпасы везли на подводах.

Колонны растянулись на марше. А по сторонам чернели пустые поля. Над ними с голодным криком носились грачи. Порой попадались пахари. Необычные пахари. Русской военной поры. Пять или шесть баб в лямках, как бурлаки, тащили плуг, за которым, вцепившись в рукоятки, семенил негнушимися ногами древний, седой дед.

Завидев колонну, бабья упряжка останавливалась, женщины, приложив ладони к глазам, шарили по солдатским рядам.

– Цыган! – узнали они Моню. И закричали в несколько голосов: – Цыган! Бабы, гляди, кто нас покидает! Эге-ге-гей! До свиданьчика! Слышь? Не лезь на рожон! Вер-

тайся до нас!

Тайный агент

Рано или поздно это должно было случиться. Он все-таки добрался до него. Он – это капитан Телятьев, начальник дивизионной контрразведки. До него – это до рядового Цацкеса.

Капитан Телятьев носил форму артиллериста. Личный состав того рода войск, где он числился, никогда не афишировал своей принадлежности к НКВД. Они щеголяли отличительными знаками летчиков, танкистов, моряков; лишь обмундирование пехотинцев они не надевали. Все пренебрегали пехотой. Даже стукачи из контрразведки.

Моня давно знал, в чем заключается деятельность артиллерийского капитана Телятьева – здоровенного детины с широким сплюснутым носом, так что обе ноздри зияли не вниз, а вперед, и в них можно было заглянуть, не нагибаясь. Такой нос придавал начальнику контрразведки положенную ему по должности свирепость, а большие пудовые кулаки довершали его портрет. Одного не наблюдалось в облике капитана Телятьева. Признаков аналитического ума. А, как известно даже детям, деятельность контрразведчика иногда сопряжена с некоторыми умственными усилиями.

В Литовскую дивизию капитан Телятьев попал потому, что сам он был русским, а объектом его деятельности были почти сплошь евреи. Таким образом, по мнению вышестоящего начальства, удавалось избежать притупления бдительности: у русского человека к инородцу доверия нет.

Все хлопоты капитана Телятьева развивались в двух направлениях. Первое: неустанно вербовать среди личного состава дивизии сексотов и собирать урожай тайных доносов. Второе: не спускать глаз со своей машинистки, сержанта Зои К. У сержанта Зои К. было мягкое сердце: не могла отказать, если кто-либо просит. А капитан Телятьев был в высшей степени ревнив.

Как известно, двигаться сразу в двух направлениях не каждому под силу. В том числе и капитану Телятьеву. Поэтому одна сторона его деятельности всегда хромала. То сокращалось поступление доносов, то обнаруживался засос от поцелуя на шее у Зои К. Сам капитан Телятьев поцелуев не признавал. С женщинами он придерживался одной формы отношений: спать, спать и еще раз спать.

Из солдат, что окружали Моню, почти все уже перебывали у капитана Телятьева, и некоторые по-дружески предупреждали Моню, чтоб не болтал лишнего в их присутствии – они дали капитану Телятьеву подписку обо всем доносить.

Рядовой Цацкес ждал со дня на день, что капитан Телятьев вспомнит и о нем. И дождался.

Однажды, когда на фронте установилось затишье и тем, кто не числился в списках убитых и раненых, представилась наконец возможность немного перевести дух, рука капитана Телятьева дотянулась до него. В тот день Моня, не чуя беды, отправился искать каптерку, чтоб поменять изорванное и вшивое обмундирование. Завидев сержанта Зою К., он без слов догадался, что она пришла по его душу. Зоя К. вихляла худыми бедрами под юбкой из офицерского сукна, и на костлявых ее ногах болтались летние брезентовые сапожки, сшитые по заказу из трофейного материала полковыми сапожниками. В точно таких сапожках щеголяла и старший сержант Циля Пизмантер. Это наводило на мысль, что капитан контрразведки на равной ноге с командиром полка.

Из-под Зоиной пилотки торчали белесые лохмы, и Моня Цацкес машинально подумал, что тому, кто ее стриг, надо руки отрубить. Она кокетливо прищурила на Моню свои бесцветные глазки. Это она делала, приближаясь ко всем без различия мужчинам.

– Рядовой! – игриво окликнула она Моню. – Можно вас на пару слов?

У Цацкеса упало сердце. Он затравленно огляделся по сторонам: слава Богу, никого не было рядом.

– Не хотите ли пройтись? – показала неровные мелкие зубки сержант Зоя К. И они зашагали рядом, словно прогуливаясь по пыльной проселочной дороге.

- Рядовой, вами интересуется капитан Телятьев.
- Какой интерес ко мне может быть у капитана? – пожал плечами Моня Цацкес.
- Много знать будете, скоро состаритесь. Короче, рядовой. На этом самом месте

вам надлежит быть в семнадцать ноль-ноль. Товарищ капитан приедут на машине и вас захватят с собой.

Моня был настолько контужен этой новостью, что никуда с проселка так и не ушел и битых три часа околачивался там, пока не подкатил в облаке пыли новенький «виллис» с брезентовым верхом, притормозил, и капитан Телятьев из-за руля только глазом показал Моне: быстро вскарабкаться и разместиться на заднем сиденье. Что Моня и выполнил.

Они помчались на крайней скорости. Въехали в лесок. «Виллис» затормозил у разрушенного каменного дома с торчащей к небу закопченной трубой.

Капитан Телятьев знаком велел ему следовать за собой. По обломкам кирпича, скользя и спотыкаясь, пробрались они в середину развалин и по ступеням каменной лестницы спустились вниз, под нависшие железные балки. Из-под ног вспорхнула тяжелая птица, оказавшаяся совой, и Моню прошиб холодный пот. Становилось все более таинственно и жутко, как в детективных романах, которые до войны парикмахер Цацкес почитывал в «мертвые часы» – когда не было клиентов.

Капитан отпер ключом какую-то дверь, и они очутились в жилой комнате, но без окон. Свет проникал сквозь узкое отверстие в потолке. По ночам, должно быть, зажигали закопченный фонарь «летучая мышь», который стоял в изголовье широкого дивана. К деревянной спинке дивана кнопками была прикреплена старая пожелтевшая фотография полной, простоватого вида женщины с тремя малышами на коленях.

– Семья, – стараясь придать непринужденный тон предстоящей беседе, сказал капитан, кивнув на фотографию. – Ждут не дождутся папашу с победой домой.

На фотографии у супруги капитана Телятьева не было глаз. Кто-то булавкой проколол на их месте дырки. На полу, под столом, Цацкес заметил женский лифчик настолько малого размера, что он мог принадлежать только плоскогрудому сержанту Зое К.

Хозяин конспиративной квартиры гостеприимно предложил Моне сесть на диван и протянул раскрытую, но непочатую коробку «Казбека».

– Не курю, – скромно отказался Цацкес.

– Молодец, – похвалил капитан и спрятал папиросы в стол, – я тоже не курю. Итак, приступим. Ты Родину любишь?

Моня слегка опешил от такого вопроса, но быстро совладал с собой:

- Так точно, товарищ капитан.
- Готов на подвиг во имя Родины и товарища Сталина?
- Так точно, товарищ капитан.
- Готов помогать мне?
- Как прикажете, товарищ капитан.
- Это – не приказ. Мы – патриоты, русские люди... э-э-э... представители много-

национальной советской семьи... должны неустанно бороться с коварным врагом всеми доступными средствами.

Капитан умолк, пытливо глядя Моне в глаза, и Моня на всякий случай кивнул.

– Как по-твоему, Цацкес, враг дремлет?

Моня наугад сказал:

- Никак нет, товарищ капитан.
- Правильно, товарищ Цацкес, враг не дремлет! Но и мы, – он стукнул себя кулаком в гулкую грудь, – ушами не хлопаем. Верно я говорю?
- Так точно, товарищ капитан.
- Враг проникает в наши ряды...
- Вам лучше знать, товарищ капитан.
- Так вот, Цацкес, проникает... и очень даже глубоко.
- Ай-яй-яй... – на всякий случай сочувственно вздохнул Моня.
- Будем вместе работать, дорогой товарищ, вместе выявлять врага. Доверять

нельзя никому, даже лучшему другу... Под овечьей шкурой может скрываться волк. Понял?

– Ну, а вот, скажем, наш командир полка, – спросил Моня, – или политрук товарищ Кац... Им можно доверять?

Капитан Телятьев сделал стойку, как охотничий пес:

– Имеешь на них материал?

– Нет. Но... на всякий случай... интересно... Таким людям, к примеру, все же можно доверять?

– Доверяй, но проверяй. Так говорят у нас в органах. А органы, Цацкес, не ошибаются. Бдительность – наше оружие.

Моне хотелось сказать капитану Телятьеву, что и органы иногда ошибаются, и даже сверхбдительность не всегда помогает. И привести живой пример. Капитан Телятьев, скажем, в отличие от многих мужчин в подразделении, полагал, что его машинистка сержант Зоя К. спит только с ним... Но рядовой Цацкес счел за благо промолчать и преданно смотрел капитану Телятьеву прямо в ноздри, сжимавшиеся и разжимавшиеся от служебного рвения.

– Итак. – Капитан Телятьев стукнул ладонью по столу, подводя итог сказанному. – Всякий подозрительный разговор, всякий косой взгляд... брать на карандаш – и мне. В письменном виде, желательно подробней.

– Не сумею, товарищ капитан...

– Дрейфишь? Помогать советским органам не хочешь?

– Письменно помогать... не сумею. По-русски не пишу.

– А-а, иностранец-засранец, – облегченно рассмеялся капитан. – Будешь доносить устно. По пятницам и воскресеньям сюда являться. Запомни дорогу, я здесь принимаю в эти дни. А если что-нибудь экстренное – дуй ко мне в блиндаж. Постучи в дверь пять раз – условный сигнал, понял? Скажешь пароль, подождешь ответа, и тогда – входи.

– Какой пароль? – оживился Моня, все еще не утративший интерес к детективному жанру.

– Сейчас состряпаем, надо что-нибудь позаковыристей, чтоб, если народ рядом, ничего не разобрали... Вот такой подойдет... Ты по железной дороге ездил? Какую надпись видишь, когда подъезжаешь к станции?

Моня задумался, даже сморщил лоб.

– Кипяток, товарищ капитан.

– Нет. Еще подумай.

– Уборная?..

– Цацкес, запомни: на каждой станции, там, где останавливается паровоз, написано: «Открой сифон, закрой поддувало». Понял? Наш пароль будет: «Открой сифон» – это говоришь ты. И получишь отзыв: «Закрой поддувало». Повтори.

– Открой... поддувало...

– Наоборот!

– Закрой... сифон... Не получается, товарищ капитан... Трудные слова... Дайте что-нибудь полегче.

– А еще говорят: евреи – способный народ, – покачал головой капитан. – Ладно, облегчим тебе задачу. Фамилию Шапиро слышал? Вот и скажешь у моей двери: «Шапиро!» Я спрошу: «Вам какой Шапиро? Абрам или Иосиф?» И открою. Все! Договорились, товарищ Цацкес! За работу! Жду в пятницу!

Он высадил Моню из «виллиса», не доезжая до расположения части, и Моня побрел к своей землянке в подавленном состоянии. До пятницы оставалось четыре дня.

Ходить и подслушивать чужие разговоры, а потом бежать, высунув язык, к капитану Телятьеву и подводить людей под военный трибунал – такой жизни Моня и своим врагам не пожелал бы. Но вовсе не явиться в пятницу или прийти с пустыми руками, без доноса, тоже сулило мало радости. Капитан Телятьев такого не простит.

Моня не стал дожидаться пятницы. Во все другие дни начальник контрразведки

находился при штабе, и, как было условлено, в экстренных случаях следовало являться к нему туда. Моня разыскал блиндаж капитана Телятьева и, не нарушая правил конспирации, стал беззаботно прогуливаться возле входа.

– Шапиро-о-о! – не очень громко произнес он пароль.

Ответа не последовало, и Моня повторил громче:

– Шапиро-о-о!

– Вам какой Шапиро? – остановился пробегающий мимо офицер с козлиным профилем. – Абрам Шапиро?

– Нет... – замотал головой сбитый с толку Цацкес. – Мне нужен Иосиф...

– Иосиф Шапиро? – остановился офицер. – Вы не родственник ему?

– Нет... Мы... э-э-э... земляки...

– Должен сообщить вам грустную весть, – со скорбью в голосе сказал офицер, оказавшийся на редкость словоохотливым. – Ваш земляк Иосиф Шапиро получил тяжелое ранение и отправлен в госпиталь для прохождения лечения. Если у вас найдется немного времени, то я могу узнать адрес госпиталя. Это для меня не составит особого труда, и тогда...

– Рядовой Цацкес! – нетерпеливо окликнул из дверей блиндажа капитан Телятьев. – Пройдите ко мне!

Моня юркнул в блиндаж.

– Конспиратор! – зашипел капитан Телятьев, когда дверь за Моней закрылась. – Вся работа – псу под хвост. Забыл пароль?

– Нет, товарищ капитан... – оправдывался Цацкес, а про себя отметил, что, как он и предполагал, сержанта Зои К. в блиндаже не оказалось. – Я дважды звал Шапиро... И вот этот офицер ответил вместо вас. Он знает и Абрама Шапиро, и Иосифа. Иосиф, между прочим, ранен...

– Откуда он узнал эти имена? Это же пароль!

– Спросите у него... Хотя я вам могу сам объяснить, товарищ капитан. В дивизии, где столько евреев, обязательно найдется десяток Шапиро, а в десятке найдется не меньше одного по имени Абрам или Иосиф... Не годится этот пароль в Литовской дивизии.

– Зря я с тобой связался, – отмахнулся капитан Телятьев. – Подведешь ты меня под монастырь.

– Между прочим, я по делу... – напомнил Цацкес огорченному капитану. Тот сразу ожил, и лицо его приняло выражение, какое бывает у гончей, почуявшей дичь.

– Докладывай, Цацкес. Подробно. Имена, воинские звания, место происшествия – я все запишу.

– Не надо записывать, товарищ капитан, – перешел на шепот Моня, и капитан Телятьев придвинулся к нему. – Надо действовать. Они сейчас все в сборе...

– Кто они? – нервно глотнул слюну капитан.

– Группа... И с ними офицер... Он им читает вслух листовку... Вражескую.

– Где?

– Могу показать. Это не близко.

– Рядовой Цацкес, личное оружие при себе?

– Никак нет, товарищ капитан.

– Возьмешь мой автомат.

Когда капитан Телятьев, на ходу загоняя в пистолет обойму, поспешно покидал блиндаж, а за ним еле поспевал Моня Цацкес с трофейным автоматом на спине, их попытался остановить офицер с козлиным профилем:

– Я достал адрес госпиталя... Иосиф Шапиро лежит...

– Засунь этот адрес в жопу! – Капитан Телятьев отстранил его с дороги.

«Виллис» взревел, и они понеслись по проселочной дороге. Моня указывал путь, тот самый, по которому его недавно вез капитан, и возле разрушенного дома в лесочке велел остановиться.

– Здесь? – удивился капитан. – Рядом с моей секретной оперативной квартирой?

– Не рядом, – поправил Моня, – а прямо в ней.

На цыпочках, стараясь не выдать своего присутствия, капитан Телятьев и Моня Цацкес пробрались по развалинам к лестнице. Снизу действительно доносились голоса.

Капитан Телятьев подобрался, как тигр перед прыжком, поставил пистолет на боевой взвод и ударом ноги вышиб дверь.

– Руки вверх!

На широком диване конспиративной квартиры в самой неожиданной позе застыли голые, как Адам и Ева, старший политрук Кац и сержант Зоя К. – походно-полевая жена капитана Телятьева. Над ними, на спинке дивана, висела семейная фотография капитана, где у его законной жены были выколоты булавкой глаза.

Как расправился с голой парочкой разъяренный капитан Телятьев, знает только единственный свидетель – рядовой Цацкес и следственная комиссия из штаба фронта, выезжавшая на место разбирать дело.

За нанесение телесных повреждений начальник дивизионной контрразведки капитан Телятьев был снят с должности и отозван в распоряжение штаба фронта.

Старший политрук Кац и Зоя К. были госпитализированы. Медицинский осмотр обнаружил переломы ключицы и переносицы у старшего политрука Каца. У сержанта Зои К., помимо телесных повреждений, была обнаружена пятимесячная беременность. За что она была демобилизована из рядов Красной Армии и отправлена по месту прежнего жительства в город Великий Устюг Архангельской области.

Рядовой Цацкес получил поощрение в приказе и трое суток отпуска за дачу свидетельских показаний комиссии. За неимением куда ехать он проболтался эти дни в расположении своей части, но никаких обязанностей по службе не нес.

Спустя полгода начальник полкового узла связи старший сержант Циля Пизмантер получила от Зои К. письмо, в котором сообщалось о благополучном рождении ребенка. У малыша был широкий, с вывернутыми ноздрями нос, как у капитана Телятьева, и рыжие вьющиеся волосы, как у старшего политрука Каца.

На должность начальника дивизионной контрразведки прислали нового офицера по фамилии Коровьев.

Посылка

Если Моне Цацкесу суждено дожить до старости и он будет хоть иногда вспоминать вторую мировую войну, которая в России называлась Великой Отечественной, то во всех его воспоминаниях будет преобладать одно чувство. Не чувство гордости за проявленный героизм и не чувство страха за свою жизнь, которой цена в ту пору была грош. А постоянное чувство голода. И днем, и ночью. На марше и на привале. Сосет, сосет под ложечкой – с ума сойти можно. Голодные слюни набегают в рот, и приходится все время отплевываться.

Скудного армейского пайка – сухого и не сухого, с приварком и без приварка – хватало Моне на один зуб. Остальным зубам кое-что перепало лишь осенью. Когда падали листья и начинались дожди. Наступало время подножного корма. На полях, пустых и брошенных, голодный солдат мог поживиться картошкой или репой, натрясти из колосьев горсть овса и жевать как лошадь.

Сейчас же была весна, конец апреля. Самая бескормица.

По ночам, когда утихал занудный грохот артиллерии и фронт успокаивался, истратив положенный комплект боеприпасов, вступали в свои права совсем другие звуки. В покалеченных снарядами березовых рожицах, опушившихся нежной салатовой зеленью, запевали, как по команде, соловьи, и их нежные трели перекликались, с голодным урчанием солдатских животов.

Вот в такой весенний вечер на Моню обрушилась огромная удача, которая чуть не стоила ему головы. Впервые за всю свою солдатскую жизнь Моня Цацкес получил на фронте посылку. Полковой почтальон Ионас Валюнас, благополучно вернувшийся из специального лечебного заведения, где он кантовался полгода, влез в Монину землян-

ку и вручил ему почтовое уведомление на посылку. Продуктовую. Как было написано черным по белому на четвертушке серой почтовой бумаги.

Моня чуть не захлебнулся от голодной слюны, закапавшей на извещение, и чернильные буквы в отдельных местах расплылись, как ежи, угрожая лишить документ подлинности и адресат – посылки.

Моня поспешно спрятал извещение в карман гимнастерки, оставив неутоленным голодное любопытство соседа по нарам – Фимы Шляпентоха.

– От кого? – взмолился Шляпентох.

– Обратного адреса нет, – отрезал Моня, прикрыв карман гимнастерки ладонью.

Упираясь головой в потолок землянки, почтальон Йонас Валюнас сказал:

– Зато почерк знакомый.

Валюнас перед этим доставил извещение на посылку самому подполковнику Штанько. И почерк на извещении был тот же самый. Правда, там был и обратный адрес: город Балахна Горьковской области, М. Штанько. А кто такая М. Штанько? Любой солдат вам скажет, не задумываясь: жена командира полка. Рядовой Цацкес и подполковник товарищ Штанько получили посылки из одних и тех же ручек. Ха-ха-ха! Го-го-го! Тут пахло жареным. И, самое меньшее, штрафным батальоном для обладателя длинного языка.

Йонас, Моня и Фима прикусили языки, потому что и стены имеют уши, и переговаривались только глазами, закатывая их, кося, округляя, потупляясь. Они разобрали по косточкам всю семейную жизнь командира полка и пропели хвалебную оду своему фронтовому товарищу, который оказался малый не промах и в поте лица заслужил такую награду – продовольственную посылку. И все это обсуждалось без единого слова.

Первым обрел дар речи почтальон Валюнас.

– Если пойдешь на полевую почту сейчас, – заботливо посоветовал он Моне, – то успеешь получить посылку сегодня. А мы с товарищем Шляпентохом тебя здесь подождем.

– Да! – выкрикнул Фима Шляпентох и тотчас захлопнул рот, чтобы сдержать поток слюны.

– Иди, иди. – Почтальон нежно обнял за плечи Моню Цацкеса и вывел его из землянки в траншею, где Моня утонул с головой, а Валюнас по плечи высился над бруствером..

– Пойдешь прямо... – напутствовал Валюнас Меню. – Потом возьмешь налево... Потом снова прямо... До позиций артиллеристов. А оттуда полевая почта – рукой подать. В березовой роще. Увидишь указатель «Хозяйство Цукермана» – это и есть. Понял? Обратно тащи посылку тем же путем, только все наоборот. Смотри не сбейся с дороги!..

Противник был рядом, через поле. И такой противник, что хуже не придумаешь. Согласно показаниям пленных (рядовой Цацкес был использован в качестве переводчика при допросе), враг стянул на этот участок большие силы, готовя прорыв. И как раз перед позициями Н-ской части, которой командовал подполковник тов. Штанько, занял исходный рубеж танковый полк дивизии СС «Мертвая голова». Противников разделяло голое поле шириной в триста метров. И больше ничего.

Валюнас по-отечески оглядел Моню с ног до головы, поправил на животе ремень, оттянул сзади гимнастерку, словно отправляя его к невесте на смотрины, и ласково подтолкнул:

– Иди, Моня, иди, дорогой... И помни – мы тебя ждем.

Моня пошел по ходу сообщения, не сгибаясь даже на миллиметр, потому что траншеи были вырыты в полный профиль, и для его роста хватало глубины.

Над головой синело апрельское небо. День клонился к вечеру, и проступила первая яркая звезда. Она посветила, потом замигала и, оставляя ниточку дыма, покати-лась вниз. То была не звезда, а ракета. Вечер еще не наступил.

Моня шел, посвистывая, в самом добром расположении духа, какое только может быть у солдата в предвкушении сытного ужина. Правда, вместо свиста порой раздава-

лось бульканье от набегавшей слюны, но Моня продолжал высвистывать мелодию строевой песни «Марш, марш, марш, их гей ин бод» и умолкал лишь тогда, когда навстречу попадался офицер. Тут он вытягивался во фронт, брал под козырек и давал офицеру протиснуться мимо его молодецки выгнутой груди, позвякивающей тремя медалями. Разминувшись, Моня снова заливался булькающим свистом и двигался дальше по маршруту, указанному почтальоном. Он перебирал в уме знакомых, соображая, не подкинуть ли им кусочек из того, что ему предстояло получить.

Но знакомых было слишком много, и Моня стал мысленно отбирать только друзей, но и таких насчитал больше, чем пальцев на руках и ногах. На всех посылки не хватит, а дать одному, а другого обойти – неприлично.

Моня со вздохом сократил число едоков до троих: он, почтальон Валюнас и Фима Шляпентох. Почему он – даже спрашивать глупо. Посылка адресована ему. Почтальон – за то, что принес извещение. А Шляпентох – потому что делит с Моней одну землянку. Но важнее всего было другое обстоятельство. Только они трое знали, от кого посылка. И эта тайна связывала их больше, чем военная присяга.

«Если Йонас не совсем дурак, – прикидывал в уме Моня, – он достанет в медсанбате спирту, и тогда мы забаррикадируемся в землянке и будем есть и пить. Пить и есть! Только внезапная немецкая атака сможет оторвать нас от еды... Или прямое попадание бомбы. Но тогда... Ой-ой-ой... сколько хороших продуктов пропадет... если мы не успеем все проглотить... До прямого попадания».

Даже мысль о прямом попадании бомбы в разгар трапезы не испортила Моне настроения. Наоборот. От этой мысли удовольствие становилось еще острее... Как если бы пищу приправили острым перцем, чесноком и уксусом.

Моня – не жлоб. Моня – не деревенский лапоть. Он – из приличной семьи и, не дрогнув, разделит посылку на троих. Он же не Иван Будрайтис.

Иван Будрайтис... Какой он литовец – один Бог знает. Имя – русское, фамилия – литовская, а рожа – вылитый китаец. Скулы – шире ушей. Глаза – две щелочки. Возможно, его прадед был сослан царем из Литвы в Сибирь. Взял себе в жены этот прадед монголку. И его сын и внук женились исключительно на монгольских женщинах. Поэтому неудивительно, что таким уродился Иван Будрайтис, которого за фамилию запихнули в Литовскую дивизию. Он ни слова не понимал по-литовски и, когда кто-нибудь в полку заговаривал на этом языке, заливался дурным смехом, будто это не язык, а черт знает что.

– Чудно калякают, – совсем прятал в косые щелки свои глаза Иван Будрайтис. – Как татары!

Однажды Иван Будрайтис получил от своих монгольских родичей из родной сибирской деревни посылку, в которой было восемь кило сала и больше ничего. Никому в казарме он не отрезал и ломтика. Правда, в казарме обитали одни евреи, и при свете божьего дня вряд ли кто-нибудь бы отважился сунуть в рот кусок свинины. Но Будрайтис ел ночью, в темноте, на своих нарах. Жевал громко, давясь и причмокивая. И даже икая от сытости. Ел свиное сало без хлеба. И без соли. Рвал зубами, как хищный зверь из сибирской тайги, и этим пробудил зверя в голодных соседях по казарме. С подведенными животами они взвыли, как стая волков на луну, и в темноте ринулись к нарам Будрайтиса.

Чем это кончилось? От сала не осталось и запаха. Даже бывший кантор Шяуляйской синагоги, ефрейтор Фишман, нажрался тrefного так, что сало текло по губам и по шее.

У Ивана Будрайтиса было обнаружено два перелома ребер, и его отвели в медсанбат. Туда же в полном составе вскоре прибыли и остальные обитатели казармы. Еврейские желудки не переварили проклятой Богом пищи. Они лежали в одной палатке с Иваном Будрайтисом, и он даже не ругался с ними, потому что всем было не до того – все стонали от боли...

Моня Цацкес бодро миновал позиции артиллеристов и, приняв влево, дунул по прямой к березовой рощице. Вот и указатель «Хозяйство Цукермана», хотя никакого хозяйства и в помине нет: между редких березок с побитыми ветками – пустые снаряд-

ные гильзы, втопанные в мягкую землю, обрывки газет.

Грудастые, с раскормленными боками девки из полевой почты, избалованные офицерами, всякого, кто ниже лейтенанта, за человека не считали. Рядового Моню Цацкеса, заявившегося к концу дня, они лениво покрыли матом в три глотки, но так как он не отлаивался, а стоял навтыжку и пялил на них свои круглые глазки, они смягчились, как и подобает истинно русским душам, и бросили ему на вытянутые руки ящик, тянувший на ощупь не меньше, чем пять килограммов.

Ящик был аккуратный, из новой фанеры. И на верхнем боку химическим» карандашом были проставлены номер полевой почты и его, Мони, фамилия. Моня нес посылку на вытянутых руках, как мать ребеночка, и возле «Хозяйства Цукермана», где не было свидетелей, присел на поваленную березу и бережно отодрал с гвоздями верхнюю фанерку.

Взору его предстало несметное богатство, упакованное заботливыми ручками Маруси в газетную бумагу: три круга сухой колбасы («Каждому по кружочку», – честно решил Моня), две банки рыбных консервов «Судак в томате» («Шляпентоху дам одну, литовец обойдется»), два розовых бруска сала с копченой корочкой («Ионасу один – он католик, Шляпентоху сала не полагается»), кулек репчатого лука и не меньше чем кило конфет «подушечки» в бумажном мешке.

Только солдатская закалка и высокие моральные качества бойца Красной Армии удержали Моню от того, чтобы, урча по-звериному, не вцепиться зубами пахучие кульки и глотать их, не жуя, вместе с бумагой.

На дне под кулками лежал листок бумаги, исписанный женской рукой. Письмо Моне. От Марьи Антоновны. Без фамилии. Умница баба. Конспиратор.

«Здравствуйте, Моня, не знаю вашего отчества, – читал он по складам, вытянув губы трубочкой, словно дул на горячий чай. – Добрый вечер или день. Как протекает ваша фронтовая жизнь? У меня все по-старому. Посылаю, что смогла, кушайте на здоровье и бейте врага без промаха. Я по вас крепко скучаю. И, чтоб не так скучать, много работаю на благо Родины. Если есть возможность, пришлите ваше фото, чтоб мертвая копия напоминала мне живой оригинал. На этом кончаю, жду ответа, как соловей лета. Поздравляю с наступающим праздником Первое Мая – Днем международной солидарности трудящихся».

У Мони голова пошла кругом. Он увидел перед собой белую грудь мадам Штанько, и свою пятерню, сгребавшую эту грудь, разинутый рот Марьи Антоновны с темными точками пломб на зубах, откуда рвется страстный вопль: «Ка-ра-у-у-ул!»

– Ах, зараза! – тепло сказал Моня.

Верхнюю крышку с адресом он предусмотрительно бросил в «Хозяйстве Цукермана», чтоб и следа от марусинового почерка не осталось. Вечер наступал стремительно. В роще за спиной защелкал соловей, в небе изредка вспыхивали и гасли осветительные ракеты.

Он благополучно добрался до артиллерийских батарей, обогнул их справа и стал в темноте искать траншею, чтобы дальше пробираться по ходу сообщения.

Траншею Моня долго не находил. Попадались углубления в земле, но это были воронки от снарядов. Прижимая открытую посылку к груди, Моня взял левее, потом правее. Как назло, ни одна ракета не зажигала «люстру» над головой, а то бы он легко отыскал ход сообщения. Не слышно было и солдатских голосов – будто они тут все вымерли, пока он бежал за посылкой.

Моня свалился в траншею. Удачно. На ноги, а не головой вниз. А то бы рассыпал все из ящика, и поди собери в темноте. У него отлегло от сердца. Еще минуту назад казалось, что он заблудился и идет совсем не туда. Сейчас он с закрытыми глазами доберется до своих, войдет в землянку, и там взвоят от радости голодные как волки Валюнас и Шляпентох. Ионасу он кинет небрежно брусок копченого сала, Фиме – банку рыбных консервов «Судак в томате», а все остальное высыплет горкой на одеяло и крикнет как радушный хозяин:

– А ну, братва, навались!

На него навалились спереди и сзади, дурно пахнущей рукой зажали рот, оторвали от земли и понесли боком по ходу сообщения, тяжело дыша с обеих сторон и не говоря ни слова.

Он сидел на чьих-то скрещенных руках, как на скамеечке, и у переднего солдата каска на голове формой напоминала немецкий стальной шлем. Этого Моня никак не мог понять. Но вспыхнувшая над головой ракета прояснила обстановку. Моня Цацкес был в немецком окопе, волокли его по ходу сообщения немецкие солдаты, и на их касках поблескивал алюминиевый череп с костями, неумолимо подтверждая худшую из догадок: заблудившись, он пересек нейтральную полосу и угодил в расположение танкового полка дивизии СС «Мертвая голова». Его захватили в плен. С еврейским носом. С дурацкой посылкой от жены командира полка. И он эту посылку почему-то не выпускает из рук, а два дюжих эсэсовца волокут его с этой посылкой в темноте. И волокут куда следует. Откуда назад не возвращаются. Особенно если учесть его нос, который доставит эсэсовцам массу удовольствия.

Его пронесли мимо часовых, застывших с примкнутыми штыками у входа в глубокий блиндаж, долго спускались вниз по ступеням, потом его ослепил яркий свет, и Моня обнаружил, что он уже стоит на своих собственных ногах посреди блиндажа и солдат докладывает офицеру, сидящему за длинным столом. Другой солдат аккуратно поставил на стол Монику посылку.

Моня чуть не всхлипнул, как мальчик. И стал мысленно прощаться со всеми, чьи лица всплывали в памяти. С почтальоном Валюнасом и писарем Шляпентохом, которые так и не дождутся посылки и лягут спать натошак, проклиная его, Моню Цацкеса, за жадность, а он в это время будет валяться с проломленным носом и отрезанными во время допроса ушами. Он ведь не выдаст военной тайны. Под любой пыткой. Потому что никакой тайны он не знает.

Он попрощался с Марьей Антоновной Штанько, женой командира полка, пожалев, что не успел отведать ее гостинцев и все это богатство попало в руки к врагу. Он вспомнил ее письмо и горько осознал, что не дожить ему до Первого мая – Дня международной солидарности трудящихся...

В его затуманенный мозг проникали звуки немецкой речи, и понемногу он стал понимать, о чем говорят офицеры. Немцы недоумевали по поводу содержимого ящика, который солдат противника тащил по их траншее. Кривые усмешечки вызывала его несомненно еврейская физиономия. Солдат был без личного оружия. Немцы силились понять, что за этим крылось.

И тут словно молния внезапно сверкнула под черепом Мони Цацкеса. Помимо воли он выгнул грудь колесом и лихо, как учил старшина, взял под козырек.

Немцы уставились на него.

– Господин полковник, господа офицеры, – на немецком языке, с клайпедским произношением и еврейским акцентом, затараторил рядовой Моня Цацкес, понимая, что это его последний шанс – один на тысячу. – Разрешите доложить. Мой командир полка подполковник товарищ Штанько поздравляет вас с наступающим праздником Первого Мая – Днем международной солидарности трудящихся! И посылает вам подарок: русское сало... и прочее.

Моня даже прищелкнул каблуками и замер, пожирая круглыми глазами немецкое начальство.

Немцы, вертевшие в руках колбасу и сало, завернутые в газетную бумагу со смятым портретом генералиссимуса И.В. Сталина, переглянулись между собой, зашептались. Полковник кивком головы послал в заднее помещение солдата, и он вернулся оттуда с картонной коробкой, доверху набитой консервными банками. Полковник снова кивнул солдату, и тот с каменным лицом поднес коробку к Моне, поставил на его вытянутые руки, щелкнул каблуками и тренированным шагом вернулся на прежнее место.

– Передайте мою благодарность за поздравление и подарок вашему командиру полка, – лающим голосом отчеканил немецкий полковник из дивизии СС «Мертвая голова». – Это мой презент ему. Хайль Гитлер!

Немцы вскинули правую руку в нацистском приветствии, и это было адресовано советскому солдату с еврейским носом из Шестнадцатой Литовской дивизии. Моня хотел было гаркнуть в ответ, как его учили в Балахне на формировании: «Служу Советскому Союзу!»

Но промолчал.

Потому что сразу не смог перевести эти слова на немецкий, а кроме того, нутром почуял, что это было не совсем уместно.

Те же два солдата, встав по бокам, повернули его кругом, подтолкнули в спину и повели с коробкой в руках из блиндажа в темноту. Втроем они преодолели земляные ступени, поднялись в окоп, прошли метров сто, и солдаты, подхватив Моню сзади, раскачали его и перебросили через песчаный бруствер.

Моня скатился в траву на нейтральную полосу. Картонная коробка упала рядом. Он подтянул ее к себе, вполз в воронку от снаряда, и когда зажглась ракета и стала описывать над головой дымную дугу, он успел прочитать несколько цветных ярлыков на консервных банках. Тут были португальские сардины, норвежская сельдь в винном соусе, французский паштет из гусяной печени. Короче говоря, это был набор деликатесов, каких подполковник Штанько не только на войне, но и в мирное время не нюхал и даже не подозревал, что такое вообще существует на белом свете. У него, с его грубым желудком, привыкшим к перловой каше и борщу, от таких кушаний сделается понос, и, возможно, даже хронический. Сам Моня, выросший почти в Европе, тоже не пробовал многого из того, что немцы послали подполковнику Штанько в подарок, и лишь понаслышке знал о таких деликатесах.

Подполковник Штанько, таким образом, отпадал. Моня ему ничего не передаст. Это ясно как божий день. Потому что сразу откроется, что рядовой Цацкес больше часа пребывал в немецком плену, но вместо того, чтобы быть зверски убитым, как и полагается советскому солдату, да еще в придачу еврею, отпущен фашистами целым и невредимым и снабжен на дорожку продуктами самого высокого класса.

Тут, естественно, возникнет законный вопрос: за что немцы сделали Моне исключение? Почему осыпали своими милостями? Какой ценой куплена их отеческая любовь к рядовому Моне Цацкесу?

Ответ на это знает каждый советский человек, и даже выходец из глухой сибирской тайги Иван Будрайтис. Ценой гнусного предательства, измены социалистической родине, выдачи врагу важнейших секретов оборонного значения.

Что за это полагается по законам военного времени?

Высшая мера наказания – расстрел. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Приводится в исполнение немедленно.

Сам Моня уже давно не хотел есть. У него начисто пропал аппетит, и вид консервных банок с цветными наклейками вызывал тошноту. Подполковнику Штанько эти гостинцы тоже не достанутся. Не станет же Моня сам себе подписывать смертный приговор? Значит, надо избавиться от этой коробки. И как можно скорее.

Опустившись на четвереньки, Моня по-собачьи стал рыть руками землю на дне воронки, и взлетающие в небо ракеты озаряли его согнутую спину глубоко в яме на ничьей полосе между передовыми линиями советской и немецкой армий. Засыпав картонную коробку с консервами рыхлой землей и утрамбовав землю локтями, Моня с грустью посидел над ней, как над могилой, и, сказав со вздохом: «Бог дал. Бог взял», вполз наружу. И на сей раз в правильном направлении. Не замеченный наблюдателями, он прошмыгнул в родной окоп, добрался до землянки и с убитым видом предстал перед лицом своих товарищей. Вернее, товарища. Почтальон Валюнас не дождался гостинцев и, матерясь и сплевывая набегавшую слюну, ушел.

Фима Шляпентох, уже забравшийся на нары, долго смотрел на виноватое лицо Мони, на его пустые руки.

– Что? – жалко улыбнувшись, спросил Моня.

– Ты – свинья.

– Да, я – свинья, – поспешно согласился Моня, радуясь, что после этого уже ниче-

го не нужно объяснять.

- Ты – последний человек.
- Я – последний человек.
- Тебе не место среди советских людей.
- Верно. Мне не место среди... А где мне место?
- Я бы тебе не доверил знамя полка.
- Ты хочешь стать знаменосцем?

– В полку найдут достойного человека. Не жмота. Не скупердяя, который лопнуть готов, но с товарищем не поделится. Говорить я с тобой больше не желаю и спать под одной крышей не хочу.

– Хорошо, – кротно согласился Моня. – Я могу взять шинель и переночевать снаружи... Там даже лучше: свежий воздух и соловьи...

Моня выбрался из землянки, постелил на ее бревенчатой крыше шинель и забылся беспокойным сном. Он уснул под яркими весенними звездами, под шипящими траекториями осветительных ракет, а проснулся от артиллерийского грохота и едва продрал глаза, как их тут же запорошило пылью от ближнего взрыва.

Немцы на рассвете начали артиллерийскую подготовку, за которой должна была последовать танковая атака.

– Знамя! Где знаменосец? – вопили в траншее посыльные штаба полка. – Приказ командира: знамя – назад!

Через несколько минут Моня Цацкес, голый по пояс, стоял под сотрясавшейся от взрывов кровлей землянки, и рядовой Фима Шляпентох пеленал его мускулистый торс алым бархатом полкового знамени. Золотые кисти на витых шнурах Моня сам затолкал в свои голифе и, поерзав бедрами, уложил удобнее между ног. Затем натянул сверху гимнастерку, шлепнул на голову пилотку.

Знаменосец и Шляпентох побежали по ходу сообщения в тыл, подальше от передней линии, чтобы даже в случае прорыва вражеских танков знамя не досталось противнику. Они улепетывали во весь дух, как и наставлял Моню подполковник Штанько, спасая честь полка и бритую голову его командира.

– Свинья, – хрипел, задыхаясь от бега, Шляпентох, – тебе эта посылка выйдет боком. Ты подавишься ею...

Снаряды рвались за их спиной, поднимая к бледному рассветному небу тучи земли. В ответ ударила русская артиллерия, застучали пулеметы. Где-то рядом по-щенячьи взвыл человеческий голос, открывая длинный список потерь.

Начинался веселенький день. Канун Первого мая – праздника международной солидарности трудящихся.

Труп знаменосца

– Товарищ подполковник, – держа трясущуюся руку у козырька фуражки, докладывал старший политрук Кац, – обыскали все тылы – знаменосец не обнаружен.

– Все! – горестно вздохнул подполковник Штанько, и его мужественное лицо побледнело, а в глазах навернулась скупая мужская слеза. – Выиграл бой, а голову потерял...

За бруствером траншеи дымили подбитые танки. Санитары уносили раненных.

– За потерю знамени полк расформируют, – шептал пересохшими губами командир полка. – Вас... евреев раскидают по разным частям, а меня, русского человека, поставят к стенке.

– Ух, этот Цацкес, – сочувственно вздохнул старший политрук Кац, – я никогда не питал к нему политического доверия... Даже труп не обнаружен.

– Ищите его труп! Не могло же его разорвать на куски! – с надеждой в голосе распорядился командир полка. – Знамя на его теле – голова на моих плечах!

Подполковник Штанько снял фуражку и носовым платком вытер вспотевшую голову. Вытер нежно, словно проделывал это в последний раз.

С обеих сторон лениво, напоминая лай уставших собак, постреливала артиллерия, и для опытного солдатского уха это было верным признаком, что бой, слава Богу, идет к концу.

Ну, что там, еще стреляют? – разморенным, сонным голосом спросил Моня.

Он лежал на широкой деревенской кровати, а сын Божий со старой иконы смущенно глядел на него. Ибо Моня лежал бесстыдно голым. Как мать родила. Слегка прикрыв срам уголком простыни.

Дородная баба, босая, полуодетая, с распущенной косой и болтающимися под рубашкой огромными грудями, выглянула в окошко и певуче подтвердила:

– Стреляют, милый, стреляют. А чего им не стрелять? Снаряды, чай, не свои, а казенные.

– Ну, тогда, баба, иди ко мне, – великодушно позвал Моня. – Еще разок успеем.

– И то дело, – охотно согласилась баба, снимая через голову юбку. – Это ведь как в народе сказано? Солдат спит – служба идет.

На большой русской печи, в чей побеленный известью кирпичный бок уперлась спинкой кровать, за ситцевой занавеской замерли с открытыми ртами дети, а сивый дед приложил ладошку к уху:

– Чего, чего солдатик сказал?

Пятилетняя девочка неохотно оторвалась от дыры в занавеске и шепотом пояснила деду:

– Иди, говорит, баба ко мне. Еще разок успеем.

Окуляры бинокля, многократно сократив расстояние, прощупывают окрестность: сельский плетень, на кольях которого сушатся глиняные горшки и кувшины, веревку с бельем... На белье движение бинокля замедляется. На веревке висят постиранные солдатские кальсоны и рубаха, безжизненно свесила вниз рукава гимнастерка защитного цвета, за нею брюки-галифе и... алое полотнище с золотой бахромой полосет на слабом ветру, приколотое к веревке деревянными бельевыми прищепками. С мокрого бархата стекает вода красного цвета. Как кровь.

– Знамя! – не своим голосом заорал подполковник Штанько, отрывая от глаз бинокль. Он стоял во весь рост в «виллисе». На дороге, позади – грузовики с солдатами.

Через поле к деревне мчится другой «виллис», качаясь и кренясь, как от морской качки. Держась за ветровое стекло, пытается устоять на ногах старший политрук Кац.

– Знамя! – вопит он. – Я первым обнаружил знамя!

Под колесами «виллиса» вспыхивает пламя. Гремит оглушительный взрыв. «Виллис» наехал на мину. Фуражка политрука отлетела далеко в поле.

К краю мокрого бархата приникли губы подполковника Штанько. Стоя на одном колене, как на торжественном параде, целует он знамя. Целует с большим чувством. Вдоль бельевой веревки, на которой подсыхает выстиранное бабьими руками обмундирование знаменосца Цацкеса, как почетный караул, застыли солдаты с автоматами на груди.

Подполковник, счастливый до одурения, облобызал еще и витые шнуры и золотые кисти знамени и, только напоровшись губами на тесемки Мониных кальсон, поднялся с колена во весь свой могучий рост.

– Рядовой Цацкес! Дай и тебя поцелую!

Моня стоял перед ним, голый, каким его вытащили из постели, и лишь бедра его были стыдливо прикрыты сельским, расшитым петухами, полотенцем, которое он придерживал обеими руками.

Командир полка на радостях не придавал значения, что рядовой Цацкес одет не по форме, и, схватив его руками за уши, пригнул голову к себе и вlepил поцелуй в губы, сначала несколько раз пристрелявшись, чтобы разминуться с его вислым большим носом.

– Да тебя, стервеца такого, к награде представить! Сохранил знамя! Наградить немедленно! Сейчас же! Не сходя с места! Я отдаю тебе свою медаль!

Он поспешно стал отвинчивать со своей груди медаль.

Старший политрук Кац, обожженный взрывом, чумазый, в изорванном обмундировании, приковылял, хромая, и вперил завистливый взгляд в медаль, отвинченную подполковником Штанько.

– Носи с честью!

Подполковник поднес медаль к волосатой груди Мони и тут сообразил, что привинчивать ее некуда. Разве лишь к волосам. Пыл его при этом быстро остыл, и он не без удовлетворения спрятал медаль в нагрудный карман своей гимнастерки. Вместо награды Моня довольствовался словесным поощрением.

– Благодарю за службу! – тепло сказал командир и пожал ему руку. При этом Моня был вынужден отпустить край полотенца, и оно плавно легло на землю, обнажив срам.

Комсорг полка Циля Пизмантер при виде открывшегося ей зрелища глубоко задышала и ладошкой скромно прикрыла глаза. Но пальцы не сомкнула, и в образовавшейся между ними щели пылали яростным любопытством ее карие глаза.

Туалетная бумага

На фронте, как и в жизни, ничто не стоит на месте. Фортуна улыбается то одной стороне, то другой. Противник иногда отступает тоже. И порой даже весьма поспешно. Бросая материальную часть и не успев вывести из строя то, что строжайше предписывалось уничтожить, дабы не попало в руки врагу.

В таких случаях другой стороне доставались трофеи. И среди них наиболее ценными, на солдатский вкус, считались невиданные доселе аккордеоны, а также специальный порошок, если посыпаться каким, на неделю вперед гарантирован от блох и вшей. Ну, и конечно же, спирт. Даже древесный. Употребление коего приводило к слепоте. Временной. Но иногда и вечной.

Порой в захваченных блиндажах, где еще дымился в чашках недопитый кофе, приводилось наткнуться на диковинные предметы, ставившие в тупик даже таких бывалых людей, как старшина Качура.

Осматривая офицерский блиндаж, старшина Качура обнаружил за кокетливой в горошек ширмой туалет. Белый фаянсовый унитаз и на нем подковой черное пластмассовое сиденье.

Такого баловства советская армия себе не позволяла и потому была выносливей, нежели ее изнеженный противник. В советской армии по большой нужде ходили «до ветру», куда-нибудь недалеко от окопа или блиндажа, и большой удачей считалось забраться для этого дела в воронку от снаряда. Там, как говорится, полная лафа: тепло, светло и мухи не кусают. То есть почти нет риска схлопотать пулю или осколок в оголенный зад.

А нет воронки поблизости – садись на открытом месте, продуваемом всеми ветрами. И огнем противника тоже. В таком месте долго не засидишься. Но это на пользу делу: солдат быстрее возвращается на боевой пост.

Но не белый унитаз с черным сиденьем озадачил старшину. А прибитый на стене рулон розовой бумаги, намотанной на валик. Если потянуть рулон за конец, он разматывается бесконечной лентой. Бумага мягкая, ласкает грубую задницу.

Старшина заскреб в затылке.

– Эй, Цацкес! Ходи сюда!

Моня заглянул за ширму.

– Ты ж с Литвы. Так? А это – почти что Европа. Вот и растолкуй мне, что мы тут видим?

– Туалет, товарищ старшина. Уборная!

– Без тебя знаю. Грамотный. А вот на кой хрен они тут такую ценную бумагу хранят? А? С какой целью?

И хитро скосил глаз на Моню.

– Это, товарищ старшина, специальная бумага.

- Для какой надобности?
- Чтоб задницу вытирать.

Старшина сдержался и не рассмеялся такой шутке – он не позволял себе вольностей при подчиненных.

Насколько он знал, а уж он на своем веку всего повидал, задницу вытирают газетой, оторвав от нее кусок и крепко размяв его в ладони. А ежели нет под рукой газеты, то пользуются указательным пальцем, после чего палец вытирают об траву, если такая произрастает на дистанции вытянутой руки, или же об стенку.

– Значит, задницу вытирают таким дефицитным материалом? – прищурился на Моню старшина.

– Так точно, – уверенно подтвердил рядовой Цацкес.

– Умный ты, я погляжу, – насмешливо покачал головой Качура. – А для чего, скажи на милость, тогда газета?

Моня задумался и уже не совсем уверенно ответил:

– Читать...

– Все ясно, – посуровел старшина и даже перестал разматывать рулон. Розовая бумажная лента, как змея, кольцами обвилась вокруг его хромовых сапог.

– Выходит, мы – дураки, газетой задницу подтираем, а они... культурные... на это дело такое добро переводят. Так вот, запомни! Мы хоть газетой подтираемся, а побеждаем в бою, а они со своей туалетной бумагой... бегут. Значит, кто прав? За кем, так сказать, историческая правда? То-то!

Моня молчал, сраженный убийственной логикой старшины. А Качура, ехидно посмеиваясь, оторвал от розовой ленты клочок, насыпал в него махорки, скрутил цыгарку и пустил Моне в лицо струю едкого дыма.

– Европа...

Субботняя молитва

Старший политрук Кац рьяно искоренял в полку любые проявления чуждых советскому человеку влияний. Особенно настойчиво боролся он с религиозным дурманом. В Литовской дивизии главной мишенью пропагандистов и агитаторов был, естественно, иудаизм и его тлетворное влияние на трудящиеся массы. Любую молитву Кац рассматривал как преступление, равное чтению вражеских листовок.

А когда евреев больше обычного тянет беседовать с Богом? В канун субботы, в пятницу вечером. Старший политрук отлично знал это, потому что происходил из религиозной семьи и вплоть до вступления в коммунистическую партию исправно посещал синагогу.

Именно поэтому в пятницу вечером во всех подразделениях проводились политбеседы, и агитаторы из штаба полка заводили нудный разговор о вреде религии – опiums для народа как раз тогда, когда на небе загоралась первая звезда и во всем мире евреи зажигали субботние свечи.

Бывшего шамеса Шлэйме Гаха сам Бог избавил от такого кощунства. Не сидеть на такой беседе он не имел права, но зато он не слышал богохульных слов, потому что был глух. Он закрывал глаза, и ему становилось совсем хорошо. Можно было молиться в уме. Но Боже упаси шевелить при этом губами. Да еще покачиваться всем телом. Политрук Кац поймал его однажды за этим занятием, и рядовой Гах схлопотал пять нарядов вне очереди.

После гибели раввина Береловича, за которым шамес ходил как тень, он потерял всякий интерес к жизни и молился при любом удобном случае, когда рядом не было посторонних. Шамеса потряс не столько сам факт смерти раввина, сколько то, как его похоронили. В Красной Армии был обычай: всех убитых сбрасывать в одну яму, предварительно содрав с них обувь, а иногда и штаны. И всю эту кучу изуродованных тел, где один втыкался носом в зад другому, засыпали сверху землей и вгоняли деревянный кол, на котором красовалась прибитая гвоздями пятиконечная звезда, вырезанная

из жестяной банки от американской свиной тушенки. И – все. Это называется в России братской могилой. Пойди потом объясни людям, где нашел вечное успокоение такой благочестивый человек, каким был при жизни раввин Мойше Берелович.

Шамесу хотелось самому умереть. Но его страшила перспектива быть похороненным, как падаль, в братской могиле.

Минометная рота занимала высоту, глубоко окопавшись и построив прочные блиндажи. В тыл, к штабу полка, вел извилистый ход сообщения в человеческий рост, и по этому ходу в пятницу вечером, как раввин на субботнюю молитву, отправлялся на позицию старший политрук Кац, что доставляло жестокие страдания шамесу. Не приносили особой радости эти визиты и другим евреям.

Командир роты лейтенант Брехес был коммунистом и не видел разницы между субботой и воскресеньем. И вообще ему было не до Бога, потому что у него обострилась довоенная язва желудка. Но человек он был мягкий и к своим подчиненным относился не по-казенному. Поэтому никто не удивился, когда в пятницу после обеда он сказал, как бы между прочим, что старшего политрука Каца вызвали в дивизию и, возможно, политбеседа нынче не состоится. У шамеса Гаха заблестели глаза. Удивительнее всего, что лейтенант Брехес говорил не так уж громко, а шамес расслышал каждое слово. Бывает.

Евреи оживились. Стали шептаться, таинственно оглядываясь. От одного к другому ходил, как маятник, шамес Гах, очень возбужденный, но разговаривал на удивление тихо. Хотя, как известно, глухие разговаривают слишком громко, чем и славился шамес до этого случая.

Одним словом, евреи собирали миньян – десять человек, необходимых для молитвы, и готовились всласть отвести душу в канун субботы.

На немецкой стороне было тихо. За весь вечер раздалось два-три выстрела, и все. В тылу, в штабе, тоже не заметно было особого движения. По всем признакам канун субботы обещал быть спокойным.

С приближением вечера шамес занервничал. Не собирался миньян. Девять евреев, не забывших, что пятница – это пятница, он нашел. Не хватало десятого. Без десятого все шло насмарку, и молитва срывалась.

Лейтенант Брехес спросил шамеса, чем он так озабочен, и когда тот объяснил, в чем дело, даже рассмеялся и сказал, что это все формальности, и если им уж так нужен десятый, то он, лейтенант Брехес, может посидеть за компанию. Правда, если это не надолго. Потому что он роту не может оставить без присмотра. Шамес просиял и попросил командира роты явиться на молитву с покрытой головой. Можно в пилотке. Или в каске.

Близились летние сумерки, и весь миньян собрался в блиндаже, в касках и с личным оружием. На этом настоял лейтенант Брехес на случай огневого налета противника. На ящик из-под мин поставили две свечи: две латунных стреляных гильзы от снарядов 45миллиметровой противотанковой пушки. В гильзы налили керосин, сплющили концы, откуда торчали фитили из брезентового солдатского ремня. Такие светильники на фронте назывались «катюшами». В этот вечер «катюши» должны были послужить евреям субботними свечами.

– Где тут восток? – вдруг забеспокоился шамес. – Мы должны повернуться лицом к Иерусалиму.

– Хорошенькое дело, – сказал Моня Цацкес. – Из-под русского города Орла увидеть Иерусалим.

– Слушайте, евреи, нет таких крепостей, которых бы не могли взять большевики, – пошутил лейтенант Брехес, который был здесь единственным коммунистом.

Он снял с руки свой компас, положил на ящик, прищурился на мечущуюся стрелку и сказал:

– Вон там – юг, а Иерусалим к юго-западу от нас... Как раз где вход в блиндаж. Значит, можно стать лицом сюда, и вы не промахнетесь.

– Там – Иерусалим? – посмотрел в проем хода шамес Гах, и глаза его увлажни-

лись. – Подумать только, там – Иерусалим.

Евреи стали в тесноте перестраиваться лицом к Иерусалиму, и со стороны можно было подумать, что они готовятся к выходу на боевое задание.

– Время! – зловеще шептал шамес Гах, хлопотавший возле свечей. – Кто следит за небом? Ну упустите появления первой звезды.

Моня Цацкес не мог удержаться и не вставить свой совет:

– Только не перепутайте, чтоб не вышло греха: не примите сигнальную ракету за первую звезду.

Шамес неодобрительно посмотрел на него, и Моня заткнулся.

– Ну, есть звезда? – нетерпеливо спросил шамес.

– Звезды еще нет, – ответил голос снаружи, – но бежит к нам Иван Будрайтис.

– Что тут нужно этому гою Будрайтису? – возмутился шамес.

– Должно быть, ко мне, – сказал командир роты, – я его оставил у телефона.

– Ребята! – влетел в блиндаж скуластый Иван Будрайтис. – Кончай базар! Товарищ политрук Кац звонили, они идут к нам проводить политбеседу.

Иван Будрайтис выпалил это и сам был не рад – так он испортил всем настроение.

– Надо расходиться... – вздохнул лейтенант Брехес. – Может быть, в другой раз...

– И ничего нельзя придумать? – с тоской взглянул на него шамес.

Остальные евреи тоже выжидающе смотрели.

– А что я могу придумать?

– Я придумал, – сказал Моня Цацкес, и все головы как по команде повернулись к нему. – Старший политрук Кац не самый храбрый человек в Литовской дивизии. Верно?

Евреи нетерпеливо кивнули, а Иван Будрайтис сказал:

– Это уж точно.

– Значит, – продолжал Цацкес, – если немцы сейчас откроют сильный артиллерийско-минометный огонь, то старший политрук Кац, уверяю вас, и носа не высунет из своего укрытия при штабе полка.

– Хорошенькое дело! – всплеснул руками шамес. – Цацкес, вы, должно быть, родились недоношенным. Кто же это немцам передаст, что евреи просят их об одолжении: открыть огонь? Не вы ли?

– Могу и я, но только, рэбе, я приму на себя грех – поработаю в субботу, что еврейским законом возбраняется... Хотя стойте! У нас же есть шабес-гой! Иван Будрайтис. Для него это не грех. Ваня, ты можешь сделать одолжение своим однополчанам?

– Смотря какое... – осклабился Будрайтис.

– Пустяк. Возьмешь мину и опустишь ее в миномет. Немцам не понравится, что их потревожили перед ужином. И они ответят. Так, что чертям станет тошно. Тем более старшему политруку Кацу. Можете не волноваться – его здесь не будет.

Никто ничего не сказал. Все думали. И на лицах у всех появилась хитрая ухмылка. Мониная идея явно нравилась миньяну.

– Я – что? – сказал Иван Будрайтис. – Мне – раз плюнуть.

– Так за чем остановка? – нетерпеливо спросил шамес.

– А вот как товарищ командир роты скажут, – показал глазами на лейтенанта Брехеса Иван Будрайтис, – так и будет.

Теперь все смотрели на Брехеса.

– Добро, – сдался лейтенант. – Но не больше одного выстрела. Боеприпасов мало.

– Будет сделано! – козырнул Иван Будрайтис. – А вам, товарищи, счастливо помолиться.

И исчез в быстро сгущавшихся сумерках.

– Как там? – нервничал шамес. – Звезды еще нет?

Вместо ответа хлопнул минометный выстрел. И взрыв донесся с немецкой стороны. Это сработал шабес-гой Иван Будрайтис.

Немцы с минуту недоумевали, чего это русские их побеспокоили без видимой причины, затем грянули залпом из восьми минометов. Вслед ударила артиллерия.

Грохот прокатился по всей высоте. Взрывы распустили пыльные бутоны от вер-

шины до подножия и дальше, в расположении штаба полка.

– Звезда! Звезда! – Этот крик прорвался сквозь адский шум огневого налета.

Шамес трясущимися руками зажег спичкой обе «катюши», коптящее пламя колыхалось при каждом разрыве.

Шамес воздел руки над свечами, сощурил глаза, потому что сверху на него сыпался песок, и на древнем языке – лошен койдеш – провозгласил молитву, стараясь перекрыть грохот над головой.

– Барух ата адонай... элохейну мелах хаолам, ашер кидшану бемицвотав ве цивану лэадлик нер шел шабат...

И весь миньян, за исключением лейтенанта Брехеса, вдохновенно подхватил, повторяя за шамесом начало субботней молитвы:

– Благословен Ты, Превечный, Боже наш, Царь вселенной, который освятил нас законами Своими и заповедал нам зажигать субботние свечи.

Сотрясалась земля. Трещали бревна перекрытия над головами. Со стен струился песок. Едкий дым из хода сообщения вползал в блиндаж. В девять глоток, при одном воздержавшемся, неистово молились евреи Богу на древнем языке своих предков в летний пятничный вечер 1943 года на русской равнине, отмеченной на военных картах как Орловско-Курская дуга.

– Барух ата адонай... элохейну мелех хаолам, ашер кидшану...

Еврейское ранение

У еврея свое еврейское счастье. Если его ранят, то обязательно в такое место, что потом не оберешься хлопот. А больно так же, как и всем остальным, и кровь, которую ты потерял, такого же красного цвета.

Когда Моня Цацкес лежал в госпитале, там находился на излечении еще один еврей-летчик, капитан. Вся грудь в орденах. Боевого Красного Знамени – две штуки. А это почти что Герой Советского Союза.

Этот еврей не снимал с головы летную фуражку с голубым околышем и кокардой с крылышками. Можно было подумать, что он очень набожный и, потеряв в бою ермолку, заменил ее фуражкой. Или, может быть, он ранен в голову, и его безобразит шрам от ранения.

Он был ранен в совершенно противоположную часть тела. В зад. Немцы аккуратно всадили ему по пуле в каждую ягодицу.

Возникает законный вопрос: зачем же тогда носить день и ночь фуражку на голове?

Оказывается, надо.

Такое ранение считается позорным. Получить пулю в зад можно, только убегая от противника, и такая рана – клеймо труса и дезертира.

Но этот еврей был летчиком, и ему вlepили две пули из зенитного пулемета, который, как известно, стреляет снизу вверх, а летчик сидит в кабине задницей вниз. Если не считать тех редких случаев, когда самолет делает «мертвую петлю». Так что про этого летчика можно было смело сказать, что он принял удар грудью и у него действительно боевое ранение.

С этим согласится любой фронтовик. Если, конечно, знает, что раненый – летчик. А как вы определите род войск в госпитале, где все пациенты в одинаковых пижамах?

Вот почему он не снимал с головы летной фуражки. И все раненые относились к нему с уважением. Хоть и знали, что он еврей.

Моне Цацкесу тоже не повезло с ранением. Осколок немецкого снаряда летел ему прямо в шею, но Монин подбородок, выступавший вперед из-за неправильного прикуса, преградил путь осколку, приняв удар на себя. После этого, как вы догадываетесь, и подбородок, и челюсть с неправильным прикусом и со всеми зубами и пломбами превратились в кашу. В кипящую кашу. Потому что Моня остался жив и дышал, пуская кровавые пузыри.

В палатке медсанбата родной Литовской дивизии, где ему оказали первую по-

мощь, Моне сразу улыбнулось еврейское счастье. Именно в тот момент, когда его, еле живого, шлепнули на операционный стол, кончился запас хлороформа. А так как откладывать операцию было опасно, то ее сделали без наркоза, прямо по живому мясу, и Моня даже кричать не мог, потому что вместо рта у него была каша.

Потом этот случай расписали во фронтовой газете как проявление необычайного мужества русского солдата, а фамилию героя обозначили только буквой Ц., видимо, для секретности. Чтобы ни один враг не догадался, кто же такой этот мужественный русский солдат. Правда, нельзя сказать, что Моня был в трезвом уме и ясной памяти, когда его резали и зашивали на операционном столе. Доктор Ступялис – в прошлом знаменитый гинеколог в Пасвалисе, ставший в войну майором медицинской службы, – распорядился, чтобы пациенту дали спирту для поддержания духа. Это легко сказать: дать рядовому Цацкесу спирта. Куда? Рта у него нет.

Для кормления пациентов с челюстным ранением им протыкают отверстие в боку и по резиновой трубке вводят пищу прямо в желудок. Как говорится, кратчайшим путем.

Вот в это отверстие, по указанию доктора Ступялиса, санитары вставили воронку и влили сто граммов слегка разбавленного спирта. Моня Цацкес захмелел, как от доброго стакана коньяка, и настолько развеселился, что хотел рассказать хирургу, что он, Моня Цацкес, – знаменосец и теперь знамя полка осталось без присмотра и может запросто попасть в руки к врагу. Тогда полк расформируют, командира товарища Штанько расстреляет военный трибунал, а Марья Антоновна Штанько останется вдовой.

Моня ничего этого не сказал хирургу. Сами догадываетесь почему. Рта не было.

Вместо рта и всей нижней части лица на нем был белый гипсовый хомут. Моня был заживо замурован в нем. А чтобы он не задохнулся, сверху выдолбили в гипсе желобок, откуда свисал Монин нос внушительных размеров и к тому же слегка загнутый вниз.

В этом наряде он стал особенно похож на пингвина. И был рад, что, кроме нянечек и медицинских сестер, никакие другие женщины его не видят.

Хотя ему, конечно, было в ту пору не до женщин. Но, если бы он был даже в состоянии ухаживать за ними, то не стал бы этим заниматься после того, что увидел своими глазами в этом госпитале.

Госпиталь находился далеко от фронта, в провинциальном русском городе. Кроме корпусов: челюстного, брюшной полости, конечностей и других, там имелся еще один, закрытый от остального госпиталя высокими тополями парка, и к этому корпусу было приковано любопытное внимание всех раненых. Даже тех, кто готовился вот-вот перебраться в морг.

Это был венерологический корпус.

Там лечили славное русское воинство, пострадавшее не на поле брани, а в постели или в кустах от случайных связей. И подцепивших триппер, именуемый для приличия гонореей.

В каждом корпусе на стенах висели зловеющие лозунги-призывы: «Опасайтесь случайных связей». Но такая пропаганда была совершенно лишней при наличии в госпитале своего венерологического корпуса. Наглядная агитация – куда доходчивей. И у многих раненых надолго отбило интерес к случайным связям. И не случайным тоже.

Начальником этого госпиталя был хороший мужик. Генерал медицинской службы. Большой шутник.

Во всех корпусах солдаты и офицеры размещались в разных палатах, и офицеры получали что полагалось командному составу, а солдаты – по норме рядовых. Венериков же сбили в одно стадо. Им не выдали ни пижам, ни тапочек, а оставили в своем армейском обмундировании. Со знаками отличия. Но, конечно, без орденов и медалей. Солдаты и сержанты ходили вперемешку с майорами и полковниками, связанные одним несчастьем, и поэтому начисто забыли о субординации.

А лечили их по тем временам вернейшим способом: догоняли температуру тела до сорока градусов, доводили почти до беспамятства, рассчитывая, что гонококк такого жару не выдержит. А если сам венерик опередит гонококка и загнетса от такой температуры, так тоже не беда. По крайней мере, другим наука. Опасайтесь, мол, случайных связей.

Высокой температуры достигали с помощью скипидара. Лошадиную дозу этой вонючей жидкости вводили шприцем в ягодицу. Только русский человек мог выдержать такое лечение. Он даже зла не держал против врачей. А вот к бабам, виновницам его страданий, проникался лютой злобой, и им потом долго отливались его слезки.

Даже после того, как температура спадала, страдания больного не кончались. Опухало проскипидаренное бедро, и больной долго хромал.

Начальник госпиталя за это и ухватился. Всем выздоравливающим он прописывал усиленную строевую подготовку без различия чинов и званий. Венериков разбили на сотни и строили по десять человек в шеренге. Эти сотни начальник госпиталя прозвал «черными сотнями», и они друг от друга ничем не отличались, за исключением одного.

Когда вводили скипидар, укол доставался одним в левую ягодицу, другим – в правую. Соответственно этому они потом и хромали. В каждую сотню брали уколотых только в одну сторону. Гоняли венериков строевой на футбольном поле за госпитальным парком. Поднимая тучи пыли, шагала, припадая только на правую ногу, одна сотня, за ней, хромая на левую, пылила следующая.

Это было почище цирка. И раненые из других корпусов, волоча костыли, выставив перед собой загипсованные руки, рассаживались на траве вокруг футбольного поля, и представление начиналось.

Тучные полковники, поджарые капитаны, мордастые старшины и пучеглазые рядовые становились в строй, смущенно пряча глаза от гогочущей публики. Сам начальник госпиталя отдавал команду:

– Равнение направо! Бабники! Юбочники! Бесстыжие скоты! Нарушители армейского устава и супружеской верности! Правое плечо вперед! Шагом... марш!

И, хромая на правую ногу, вся сотня делала первый шаг. За ней трогалась следующая сотня, дружно припадая на левую ногу.

Зрители были от восторга. Один Моня Цацкес был нем в своем гипсовом хомуте, хотя ему тоже становилось весело, и он на время забывал о своем несчастье. Но ненадолго.

Из-за этого намордника у него чуть не вышла большая неприятность. Он уже понемногу выздоравливал, хотя и оставался с закрытым ртом, потому что нижняя часть лица все еще была плотно замурована гипсом. Пищу он получал, как и раньше, через вставленную в бок трубку, не чувствуя ни вкуса ее, ни запаха. В декабре отмечали день рождения Сталина – великого вождя народов, отца и учителя, корифея и главнокомандующего. И по всей России, на фронте и даже в госпиталях, этот день считался государственным праздником. С выпивкой, с закуской и нескончаемыми речами и тостами в честь дорогого юбиляра.

Раненых, которые могли двигаться, согнали в столовую в пижамах и ночных туфлях, в повязках и на костылях. И один из раненых, пренеприятнейший тип из контрразведки, имевший позорное ранение в задницу, полученное, очевидно, от своих же солдат, прокричал гост за здоровье генералиссимуса Сталина, и все инвалиды, как по команде, вскинули стаканы с разведенным спиртом и опрокинули их в разинутые рты.

У Мони не было рта. Вернее, был, но не добраться к нему – закрыт гипсом. Зато под пижамой в боку у него торчала эмалированная воронка, и он просунул стакан под пижаму и опорожнил его в воронку. Контрразведчик заметил это. И закричал:

– Смотрите, товарищи! Этот еврей не стал пить за здоровье товарища Сталина и вылил водку под стол!

Ему тут же растолковали, что куда Моня водку не выливал, что у него трубка в боку и водка пошла по назначению за здоровье дорогого генералиссимуса.

Тогда этот тип, с раной в зад, подошел к Моне и сказал проникновенно:

– Прошу прощения, товарищ. Хоть ты и еврей, но наш человек.

Моня Цацкес хотел ему плюнуть в рожу, но плевать было тоже неоткуда. Тогда он ударил его здоровой ногой в здоровый живот, а тот хлопнулся на свой покалеченный зад и поднял страшный гвалт.

Моне чуть не пришили политическое дело: покушение на офицера контрразведки и срыв такого мероприятия, как празднование дня рождения великого вождя и учителя.

Но следователь особого отдела, пришедший в палату снять допрос, не смог снять показания. По той причине, что рот подсудимого был запечатан, а через трубку в боку он мог пить спирт, но не разговаривать.

Следователь особого отдела захлопнул пустой блокнот и даже пожал Моне руку на прощанье:

– Желаю скорейшего выздоровления!

Стукача из контрразведки перевели в другой госпиталь, и в этом остался только один раненый в зад. Летчик-еврей, не расстававшийся со своей фуражкой.

Когда Моня окончательно пошел на поправку и с него сняли гипс и вставили зубы, он довольно близко сошелся с летчиком, не без удовольствия обнаружив, что образованный еврей из Москвы знает даже несколько слов на идише.

Например, слово «тохес» он произносил очень вкусно, без всякого акцента, словно он – не москвич, а чистокровный литвак.

Потом они даже переписывались и обменялись двумя-тремя открытками. Связь прервалась не потому, что Моне было лень писать – за него писал Фима Шляпентох. А потому что летчик погиб. На сей раз пуля попала, как у всех нормальных людей, не куда-нибудь, а в голову.

А после этого обычно уже не пишут.

Фирочка-козочка

Это случилось в госпитале. Когда Моня еще был закован в гипсовый хомут с желобком для носа и не мог произнести ни слова, потому что вся его челюсть была раздроблена на куски, а потом из этих кусков была собрана заново. В этом хомуте Монина голова была похожа на кадку, в которой растет кактус. Кадкой служила толстая гипсовая повязка, вдвое шире головы, а кактусом были остаток лица и макушка, торчавшие из этой кадки. Для пущего сходства с кактусом остриженный в госпитале Моня порос короткой колючей щетиной.

Но Моня был молод. И, как потом справедливо говорила Роза Григорьевна, – а кто такая Роза Григорьевна, вы скоро узнаете, – у товарища Цацкеса разбита только челюсть, все остальное – будь здоров, не кашляй. Так что для невинной еврейской девушки из приличной семьи он представляет серьезную опасность.

Обитатели госпиталя на весь город славились своими амурными похождениями. Без рук, без ног, а главное, без одежды, в госпитальных халатах или просто в нижнем белье, они умудрялись на связанных, простынях спускаться по ночам с любого этажа, преодолевать высокий забор и до утра нежиться под лоскутными одеялами у своих зазноб.

Моня не мог разговаривать, но был в состоянии слушать. И в изобилии выслушивал исповеди инвалидов, вернувшихся из ночных вылазок. Они избирали Моню для своих восторженных излияний потому, что рот у него был запечатан гипсом, и он никогда не перебивал рассказчика.

Особенно грозным ходоком слыл в госпитале сержант Паша Кашкин. Правда, назвать ходоком его можно было в одном смысле – ходок по бабам. Потому что в прямом смысле – Паша ходок был слабый: правую ногу ему оттапали до колена – осталась короткая культя, обмотанная марлей, и он не ходил, а скакал на костылях, выставив эту культю, как укороченный минометный ствол.

Культя и была его главным инструментом в делах любовных.

– Понимаешь, друг, – говорил он Моне, обняв его за гипсовый хомут и задушевно глядя в глаза, – с этой культей я любую бабу беру. Никуда от меня не денется. Не веришь? Мне бы только завалить ее на кровать... Или... в траву... Дальше культя сама все сделает. Я – скок на бабу, культей упрюсь в живот – попробуй скинь меня. Русская баба, она жалостливая. Ну, куда инвалида сбрасывать – я же убиться могу! Значит, она резких движений себе позволить не может. А я времени зря не теряю: шурую, шурую под юбкой, и – в дамки. Куда ей теперь деваться? Я – тама. Остается только помогать инвалиду Отечественной войны: подмахивать как следует.

Паша Кашкин дошуровался до триппера и надолго исчез из поля зрения. Его перевели в тот самый корпус, который был отделен от остальных корпусов госпитальным парком.

Моня был лишен дара речи. Но у Мони остались глаза. И уши. И это открыло ему мир в алмазах: Моню посетила любовь.

У госпиталя были свои шефы – рабочие местного завода. Какие в войну рабочие? Сплошные женщины. Эти шефы приезжали к раненым и давали концерты художественной самодеятельности. Они пели и танцевали, молодые и старые женщины. В одиночку – соло, парами – дуэтом, и все сразу – хором. Чтобы хоть немножко скрасить унылую жизнь искалеченных солдат, отвлечь их на время от болей и тяжких дум.

Концерты давались в столовой. Столы сдвигали к стене и превращали в эстраду, а стулья ставили рядами. На них сидели безногие и безрукие, с ранениями в грудную и брюшную полости, и такие, как Моня, с покалеченной головой. Не сидела на стульях только одна категория инвалидов – с ранением в задницу. Те стояли у стены друг за дружкой, с интервалами, чтобы случайно не задеть больное место.

На одном из таких концертов Моня увидел ее. Худенькую – в чем душа держится? – девушку на тонких ножках и с тонкой шейкой. Лет восемнадцати, не больше. Моня поначалу и лица-то ее не разглядел. Его ослепили ее волосы. Эти волосы вызывали у Мони профессиональное восхищение. Роскошные натуральные волосы медного цвета, того самого цвета, ради которого щеголихи всего мира изводят пуды краски, а лучшие парикмахеры трудятся до седьмого пота. При таких волосах обязательно бывает белая-белая кожа. И веснушки. Бледные-бледные. Намек на веснушки.

И еще у этой девушки были зеленые глаза. Это Моня разглядел потом и был окончательно сражен.

Она стояла на сцене, тоненькая – вот-вот переломится, – и ждала, когда аккомпаниатор даст вступление, а Моня смотрел на ее волосы и думал о том, что он с наслаждением поработал бы над ними и сделал бы из нее такую куклу – хоть на выставку дамских причесок посылай.

Она – единственная из всех на этом концерте пела на идиш. Еврейскую колыбельную. У Мони засвербило в носу, как только аккомпаниатор взял первый аккорд. Кровь прилила к голове, глаза увлажнились. Что-то родное и теплое нахлынуло на Моню – аромат его детства, что ли...

Тоненьким, неровным голоском девушка запела, и каждый звук обжигал его сердце:

Унтер Идэлес вигелз
Штеит а клор вайсэ цыгелэ...8

Бог ты мой! С тех пор, как Моня себя помнит на земле, эта песня вмещала для него маму, всю семью, родной дом и город Паневежис на севере Литвы.

Унтер Идэлес вигелэ
Штеит а клор вайсэ цыгелэ, –

пела ему мама, когда он был в колыбели. Потом он слышал ту же песенку, когда в этой колыбели лежали его младшие сестренки и братик, которые остались у немцев в Паневежисе, и он ничего не знал об их судьбе.

Дос цыгелэ из гефорн гандлэн, –
Дос вет зайн дайн баруф.

Рожинкес унд мандлэн...9

Когда песня кончилась и стихли аплодисменты, Моня зарыдал. Первый раз за всю войну. В госпитале человек слабеет, оттаивает.

Он плакал навзрыд, но беззвучно, потому что гипс залепил ему рот, слезы текли и текли из глаз и проложили мутные дорожки на бугристом гипсе. К Моне кинулись медицинские сестры. Ему даже дали понюхать нашатырного спирта. А потом подошла она, и Моня увидел ее зеленые глаза.

Она взяла Меню за руку, как ребенок, и отвела его в палату. Моня шел рядом с ней и ног под собой не чувствовал. У него выросли за спиной крылья, прорвав госпитальный халат. И ему сразу стало мучительно стыдно за свою гипсовую повязку, в которой он выглядел как идиот, засунувший голову в ведро и не сумевший вытащить...

Ее звали Фира. Моня про себя назвал ее Фирочка-Козочка. Но ей этого сказать не мог. Она разговаривала с ним на идише. Задавала вопросы, а он кивком соглашался или не соглашался. Тогда она задавала новые вопросы, все ближе к истине, пока он не кивал утвердительно.

Фирочка-Козочка стала навещать его. Не потому, что влюбилась. Разве можно влюбиться в человека, у которого голова торчит из гипсового ведра? Она была родом из Бессарабии, а он – из Литвы. Этого вполне достаточно. Здесь, в чужом краю, в глубине России, он был для нее как родственник.

Моня считался ходячим больным, и ему разрешалось передвигаться. Даже за пределы госпиталя. С провожатым. Этим провожатым стала Фирочка-Козочка.

После работы она заходила за Монею, нетерпеливо ждавшим ее с самого утра, и они отправлялись в город. Одет был Моня не для любовных прогулок – в выцветший байковый халат и мягкие тапочки, над которыми болтались тесемки казенных кальсон. Для большей красоты, по указанию начальника отделения, на гипсе под Мониным носом вывели химическим карандашом: «Я из госпиталя такого-то и не могу разговаривать. В случае какого-либо происшествия просьба доставить меня по указанному адресу».

Фирочка-Козочка водила его по улице, и прохожие останавливались, чтобы прочитать надпись на гипсе. В России все поголовно грамотные.

В стороне от госпиталя темнели толстыми кирпичными стенами старый монастырь. Монахов оттуда убрали давным-давно, сразу после революции, кресты на куполах сбили. Из госпиталя сюда сплавляли обрубки людей, которым больше некуда было податься. У кого семьи не было, а кого семья отказалась принять за ненадобность.

Обитателей монастыря в городе называли «самоварами с краником». Потому что у большинства не было ни рук, ни ног, а только туловище, напоминавшее самовар. А что касается краника, то под этим подразумевалось известно что. Ведь не все, что выступает на теле, срезала с этих людей война.

В погожие дни «самовары» выводили гулять. Вернее, не выводили, а вывешивали за монастырские окна проветриться, потому что передвигаться они не могли. Они висели завернутые в байковые одеяла, и, если бы из этих узлов не торчали человеческие головы, можно было подумать, что это расторопные хозяйки за неимением холодильников вывесили за окна скоропортящиеся продукты.

Из узлов глазели на мир мужские головы: безусые и усатые, стриженные наголо, а то и с лихим чубом, выпущенным на лоб. И все эти головы дымили папиросами, которые из окон втыкали им во рты проворные руки невидимых нянек и те же руки подносили горящие спички.

«Самовары» проветривались на солнышке, окутанные табачным дымом, и вели

задушевные разговоры, словно они сидели в родной деревне на скамеечке, беспечно обмениваясь впечатлениями.

Когда внизу, под монастырскими стенами, появлялся Моня в своем гипсовом хомуте и в синем байковом госпитальном халате, из-под которого виднелись белые кальсоны, ведомый за руку Фирочкой-Козочкой, «самовары» встречали их градом дружеских приветствий, перемешанных с таким же дружелюбным матом. Краники «самоварам» не поотрывало, и они в этом деле понимали толк.

- Эй, друг! Не подкачай, слышь!
- Не посрами русское воинство!
- За нас постарайся!
- Не дрейфь, пехота! Бери штурмом!

И сыпали советы косвенные и прямые, общие и конкретные. Искренне желая своему брату инвалиду удачи.

Они уходили в парк, забирались подальше от людей и сидели там на скамейке. Моня изнемогал от любви. Но выразить это он мог лишь глазами. Даже поцеловаться было невозможно. Фирочка-Козочка, которая умела читать по глазам, брала его руку и прикинула к ней губами.

Потом она привела Моню к себе домой. И тогда он познакомился с Розой Григорьевной. Ее мамой. Галицианской еврейкой. А хуже галицианских евреев – только гои. Раньше Моня не хотел этому верить, думал, это – еврейский юмор. Теперь он убедился, что в каждой шутке есть доля правды. И очень большая доля.

Конечно, можно понять и Розу Григорьевну. Что может сказать еврейская мама, когда видит, что ее дочь приводит в дом черт знает кого – в халате и кальсонах, а вместо головы у него на шее какое-то ведро белого цвета? Она может сказать, что лучшего подарка дочь ей придумать не могла. И предложит поставить гостя на огороде – ворон отпугивать.

Еврейская мама подумала бы так, но не сказала. Роза Григорьевна была галицианской еврейкой и поэтому сказала эти слова, уперев руки в бока и загородив собою вход.

Моня не обиделся. Он быстро сориентировался в обстановке и сообразил, чем можно взять Розу Григорьевну. Одна, без мужа, с тремя детьми. В чужом городе. Без добра, оставленного в Бессарабии. Бьется как рыба об лед, чтобы как-то выжить, дотянуть с детьми до конца войны и вернуться в Бессарабию, где, должно быть, все разграблено и сожжено. Кто нужен Розе Григорьевне? Помощник. Который хоть немножечко снимет бремя с ее плеч, позволит ей разогнуть спину, вздохнуть и подумать о чем-нибудь еще, кроме куска хлеба.

Гуляя с Фирочкой-Козочкой по городу, Моня заметил парикмахерскую на два кресла. За одним работала женщина в застиранном халате, другое кресло всегда пустовало. Умница Фирочка объяснила все вместо Мони этой женщине, и та для пробы согласилась взять инвалида в напарники. Дала ему инструмент – плохой инструмент. До войны такому инструменту было место на помойке. Он усадил в кресло Фирочку и... стал колдовать. Фирочка смотрела своими зелеными глазами в мутное, с трещинами зеркало и видела, как рождалось чудо. Видела это и женщина в застиранном халате за соседним креслом. Она даже перестала работать и не сводила удивленных глаз с Мониних рук. У окна останавливались прохожие, привлеченные сначала видом диковинного мастера с гипсовым хомутом вокруг головы, а затем – делом его рук. Скоро у окна выросла толпа.

Когда Фирочка-Козочка встала с кресла, это была уже не бедно одетая Золушка, а принцесса из сказки. И женщины за окном устроили Моне овацию. Такого мастера видели в этом городе впервые.

Женщины всех возрастов бросились в парикмахерскую. На тротуаре вытянулась очередь длиннее, чем за хлебом. С Моней, с его руками волшебника, к женщинам вернулась забытая за войну тяга к красоте. Особенно рвались к нему те, кому привалила радость: муж извещал в письме, что приедет с фронта на побывку. Этим бабам до смерти хотелось стать немножечко красивей, хоть чуточку желанней, чтоб напомнить мужьям, что

их жены не так уж состарились за войну и что лучше их им нигде не найти.

Таких Моня обслуживал без очереди, не обращая внимания на гневные выкрики в толпе. Отвечать на ругань Моня не мог – повязка не давала. Он только брови сдвигал сурово. И очередь стихала, боясь, что мастер рассердится и совсем уйдет. Ведь раненый, инвалид. Каково ему стоять у кресла? Его место в госпитале, на койке. И так спасибо, что делает одолжение для женщин.

Моня никому не делал одолжения. Он работал и за работу брал плату. А что превращал зачуханных дурнушек в красоток, так это была его профессия, и работать плохо он просто не умел. Ему платили деньгами и натурой. Натурой было продовольствие: яйца, мука, сахар. Одна женщина отдала кофточку. Почти новую. И Моня подарил эту кофточку Фирочке-Козочке. Пришлось немножко ушить.

Деньги и натуру он отдавал Розе Григорьевне. Потом она сама стала приходить в парикмахерскую и все забирала, будто так и полагалось. Но таким путем, как Моня и думал, он смягчил ее суровое сердце и стал своим в доме. Правда, Роза Григорьевна никак не могла привыкнуть к тому, что он только говорить не может, а слышит все. И прямо при нем вслух разбирала его достоинства и недостатки, не стесняясь в выражениях. Моня скоро к этому привык, и они с Фирочкой-Козочкой не обращали на маму внимания – только посмеивались, обмениваясь взглядами.

Иногда, если было поздно, его оставляли ночевать. Вот тогда Роза Григорьевна и сказала:

– У товарища Цацкеса разбита только челюсть, а все остальное у него – будь здоров, не кашляй. Так что для невинной еврейской девушки из приличной семьи он представляет серьезную опасность.

Они ютились вчетвером в одной комнатке. Моня был пятым. Спали все на полу – кроватей не было, да если бы и были, то для них не нашлось бы места.

Роза Григорьевна укладывала свое семейство, как командир солдат, каждому определяя его место. Моню загоняла к стене, за ним ложилась сама, потом шли двое детей, и крайней – подальше от соблазна – Фирочка-Козочка.

Розе Григорьевне еще не было сорока лет, три года она в глаза не видела своего мужа, и спать, прижавшись к мужской спине, было для нее нелегким испытанием. Утром у нее раскалывалась голова, и она проклинала Монин гипс, который натер ей щеку, и запах лекарств, от которых ломило в висках.

Но Монею она дорожила и даже огорчалась, что не может накормить его хорошим еврейским обедом, – благо, в доме появились продукты, – потому что Моня не может есть как нормальный человек. И его кормят в госпитале через специальную трубку какими-то растворами, от чего она, Роза Григорьевна, приключись с ней такое, сошла бы с ума или наложила на себя руки. С другой стороны, от того, что у него гипс там, где положено быть рту, в доме была экономия, и все продовольствие распределялось на четверых, а не на пятерых.

Одно вызывало у Розы Григорьевны тревогу: дочь явно влюбилась в этого получеловека и смотрит на него такими глазами, что Розе Григорьевне уже не нужно других доказательств. И вот тут в душе галицианской еврейки наступало раздвоение. С одной стороны, чтобы спасти дочь от непоправимой глупости, его надо было всеми средствами отвести от дома и навсегда покончить с этим делом. Но с другой стороны... Он – кормилец. Без него ее деточкам не видать бы как своих ушей ни яичек, ни молочка, ни сдобных булочек, которые она пекла из заработанной Монею муки. Надо быть ненормальной, чтобы самой взять и отказаться от такой удачи. И Роза Григорьевна не предпринимала никаких шагов.

Она выжидала. Чего? Она же не дура. Пройдет еще немного времени, и все кончится само собой. Моня поправится, с него снимут гипс, и тогда – будь здоров, пиши открытки – загремит опять на фронт. И Фирочка будет свободна. А иметь ее свободной у Розы Григорьевны были веские основания.

Если прежде один только Моня Цацкес разглядел в Фирочке-Козочке принцессу, то сейчас, с прической, сделанной руками влюбленного мастера, она стала такой кра-

савицей, что люди, раньше не замечавшие ее, останавливались на улице как вкопанные и долго смотрели ей вслед. Даже при том дефиците женихов, какой может быть только на четвертом году кровопролитной войны, претендентов на Фирочкину руку было хоть отбавляй. Эти претенденты робели приблизиться к Фирочке, особенно если рядом было это огородное пугало в гипсе, а обращались со своими предложениями к Розе Григорьевне. И она вела переговоры с женихами с трезвой и холодной головой, при этом жеманясь и томно закатывая глаза, словно не дочь, а себя пыталась пристроить в жизни.

А Фирочка-Козочка и Моня Цацкес были на седьмом небе. Такого он еще не испытывал. И она – тоже. Они бродили по укромным местам, держась за руки, и он ни разу не позволил себе ни одного движения, способного ее обидеть. И все время они болтали. Фирочка-Козочка говорила за двоих, а он лишь кивал и улыбался глазами.

Они говорили о будущем. Но это будущее рисовалось далеко не радужным. Скоро Моню выпишут из госпиталя и отправят на фронт. А что будет с Фирочкой-Козочкой? Она же умрет от горя, если больше не увидит его. А что же делать, чтобы не расставаться? Поступить на курсы санитарок и вслед за Монею поехать на фронт и попроситься там в Литовскую дивизию.

Фирочка-Козочка стала ходить на курсы, ничего не сказав маме. Роза Григорьевна узнала об этом, когда было уже поздно, потому что Фирочку-Козочку поставили на военный учет. И сыграть обратный ход – значило зачислить дочку в дезертиры. Со всеми вытекающими последствиями. Роза Григорьевна чуть с ума не сошла.

Они поцеловались, когда с Мони сняли гипс, открыв бледные-бледные губы с неровными следами швов и шрамами на подбородке – гуще чем паутина. Фирочка-Козочка легонько водила губками по шрамам, и Монино сердце замирало. Прикосновение ее губ отзывалось сладким звоном в голове, и в глазах начинало щипать, как перед слезами.

Поцелуй этот был первым и последним. Потому что снятый гипс означал: лечение окончено. И Моню незамедлительно выписали на фронт.

На вокзале Фирочка-Козочка рыдала, как маленький ребенок. Даже Роза Григорьевна пролила слезу. Моня крепился и не плакал.

Курсы санитарок Фирочка-Козочка закончила через два месяца и подала прошение на фронт в Литовскую дивизию. Ее просьбу удовлетворили, и она написала Моне, что выезжает и будет писать ему с дороги каждый день.

Он получил два письма, полные любви и нетерпения. Больше писем не было. Моня даже грозился набить морду полковому почтальону Йонасу Валюнасу, но тот божился, что это не его вина, просто нет больше писем рядовому Цацкесу.

Фима Шляпентох под диктовку дважды писал Розе Григорьевне, но ответа не получил. Тогда они стали запрашивать разные инстанции, ведущие учет потерям, и получили казенный ответ, что их Фирочка-Козочка в списках убитых, раненых и пропавших без вести не числится. Вот и все.

А потом были тяжелые бои под Шяуляем. И Моня несколько раз прощался с жизнью, но – уцелел. А потом подошли к Восточной Пруссии, к самому логову зверя, и война вступила в решающую фазу.

За это время Моня Цацкес пережил столько потерь, что боль от одной потери постепенно притупилась и ушла на самое дно души.

Семья

Сыпал мокрый, быстро таявший снег, но улицы прусского городка оставались белыми. Пух перин и подушек летал в воздухе, оседая на развороченной мостовой, на подоконниках пустых, выбитых окон. Пух облепил черепичную островерхую крышу кирхи и труп убитой лошади с задранными к небу копытами.

Горели дома. Никто не бежал от пожара, не спасал пожитки. Уцелевшие жители, как клопы в щели, забились в подвалы и оттуда со страхом провожали глазами двух

русских солдат, которые брели по улице, чавкая ботинками. В мятых, прожженных шинелях, в обмотках, в зимних ушанках и с тощими вещевыми мешками на спинах.

Один солдат был худой и высокий, другой пониже и плотный. Это были рядовые Моня Цацкес и Фима Шляпентох. Дотянувшие, наконец, до Германии в поредевших рядах Шестнадцатой Литовской дивизии.

У Шляпентоха висела на кончике сизого носа мутная капля. Он глубоко вздыхал:

– Я бы не мог...

– То – ты, а то – я, – резко отвечал Цацкес со строгим лицом и непривычно холодными глазами. – Око за око...

– Я бы не мог...

– Ну и заткнись!

Задолго до того, как дивизия ворвалась в Восточную Пруссию, еще когда бои шли в Литве, Моня Цацкес, в очередной раз контуженный, отпросился у начальства на два дня. На попутных армейских «студебеккерах» он добрался до Паневежиса, посмотреть, что случилось с его семьей. Смотреть было нечего. Дом сгорел. А семью убили, как и всех евреев, не успевших бежать из Паневежиса. Убили мать и отца Мони, двух сестричек-подростков – Ципору и Малку, и младшего брата Пиню. Где они похоронены, никто сказать не мог: стреляли евреев в разных местах, в противотанковых рвах, которые опоясывали Паневежис. Литовцев не стреляли. И кое-кто из них изрядно поправил свои дела на еврейском добре.

Монин парикмахерский салон сохранился, и даже вывеска над входом была та же. Два кожаных кресла фирмы «Бельдам», купленные Монею незадолго до войны, стояли как новенькие. Словно его дожидались. Даже не потерлись на подлокотниках. Новый владелец салона Пранас Буткус, Монин сверстник и сосед, бледный, растерянный, предложил ему снова вступить во владение, а он, Пранас Буткус, выплатит компенсацию за пользование салоном и оборудованием.

Моня отказался. До лучших времен. До конца войны.

Он как потерянный бродил по чужим теперь улицам города, где родился и прожил все свои годы. Он не встретил в Паневежисе ни одного еврейского лица, не услышал звуки еврейской речи. Это было страшно. Невероятно. В какой-то момент Моне показалось, что на свете больше нет евреев. Убили всех до единого. И только он один почему-то жив и переставляет ноги.

Двое суток, отпущенных начальством на поездку, истекали. На прощание Моня выпил с белобрысым, все время моргающим Пранасом Буткусом литовского самогона. Пахучего, свекольного. Напился вдрызг. И сам не помнил, как на попутных машинах добрался до своего полка, снова принимавшего пополнение личного состава.

Потом Моню нередко видели пьяным, чего раньше за ним не замечалось. Фиме Шляпентоху, и больше никому, доверил он свой план, окончательно созревший в хмельной голове. В первом же немецком городе они пройдутся по домам и разведуют, где обитает немецкая семья такого же состава, как семейство Цацкесов в Паневежисе. Чтоб были мама и папа – в летах, но не старые. Две девочки, желательно тринадцати и пятнадцати лет. Какие-нибудь Гретхен и Лизхен. И чтобы непременно был мальчик. Пининых лет. Скажем, Фриц или Ганс.

Моня раздобыл трофейный кинжал с наборной плексигласовой рукояткой и желобком по середине сверкающего плоского лезвия. Для стока крови.

Вот этим кинжалом он и вспорот животы немецкой семейке, которая совпадет по составу и возрасту с его погибшей семьей. А больше никого не тронет. Даже словом не обидит.

Он только восстановит справедливость. Око за око, зуб за зуб. И лишь тогда успокоится и перестанет пить. Потому что водку жрать до помутнения в мозгах – не лучшее занятие для еврейского парня. А он, Моня Цацкес, если ему суждено остаться в живых, непременно женится после войны, чтобы продолжить свой род.

Когда они заняли немецкий город, рядовой Цацкес выдул две бутылки трофейного ликера и послал непьющего Шляпентоха разыскать требуемую немецкую семью и ука-

зять ему, Цацкесу, ее координаты.

Шляпентох не посмел отказать другу и, побегав по улицам, заглядывая в десятки обитаемых домов, наконец нашел то, чего требовал Цацкес. Семью из пяти человек, в отдельном домике из темно-красного кирпича, с высокой черепичной крышей. Домик стоял в голым зимнем саду, и крики оттуда навряд ли будут слышны на улице.

Теперь он вел к этому месту своего мрачного друга и всю дорогу вздыхал:

– Я бы не мог...

– Потому что ты – баба. – Моня скрипнул зубами, задрал полу шинели и, вытащив из-за ремня кинжал, сунул его в карман. – Стой на улице как часовой. Если кто сунется выяснять, почему крики, – отгоняй автоматом! Понял? И жди, пока я выйду. Я живо справлюсь.

Нетвердым шагом, грузно покачиваясь из стороны в сторону, Моня направился через заснеженный голый сад к кирпичному домику, а кроткий долговязый Шляпентох оторопело смотрел ему вслед, на его упрямо наклоненную голову, на тощий солдатский мешок на спине. Дверь домика Моня распахнул ударом ноги и исчез внутри, даже не оглянувшись. За окнами ничего не было видно: они чернели маскировочными шторами.

Шляпентох зябко топтался на тротуаре. Через улицу – почти напротив – догорал двухэтажный дом, в котором, по всей видимости, прежде был большой магазин. У разбитых витрин, на тротуаре, грудой лежали голые манекены. Без париков, яйцеголовые, с бледно-розовыми телами из папье-маше. Одежду и меха с них, должно быть, содрали солдаты из проходивших через город колонн.

Трое русских солдат присели отдохнуть. Сели на манекены, потому что они были сухими, и, греясь у пожара, сняли ботинки, развернули коричневые от пота и сырости портянки и стали сушить их на вытянутых к огню руках.

У Шляпентоха тоже было сыро в ботинках, но присоединиться к солдатам он не решился. Нервничал. Беспокойно поглядывал на часы, озирался по сторонам: не идет ли патруль?

Прошло минут двадцать. Из домика под черепичной крышей не доносилось ни звука, и Моня все не выходил.

В сердце Шляпентоха зародилось недоброе предчувствие: эта семейка из пяти человек, поняв, что русский солдат пьян, могла навалиться на него и прирезать его же собственным кинжалом. О таких случаях предупреждали солдат армейские газеты. Фиме стало страшно за друга. Он снял с шеи автомат, щелкнул затвором и пошел по сырому, вязкому снегу через голый траурный сад. Затаив дыхание, поднялся по красным кирпичным ступеням, толкнул плечом незапертую дверь, ступил мокрыми ботинками на пушистый коврик в прихожей и прислушался.

Из дальних комнат слабо доносился чей-то голос. Фима узнал Моню и с облегчением перевел дух. Моня разговаривал с кем-то. И не по-немецки, а на чистом идише.

Шляпентох шагнул туда, все еще держа автомат наготове.

Монин автомат валялся на узорном ковре. А сам Моня, без шинели, сидел за столом под люстрой. Перед ним, окаменев, сидели хозяин и хозяйка, слушая несвязную пьяную речь. Справа и слева от Мони хозяйские дочки и мальчик с голодным нетерпением тянулись вилками к открытым консервным банкам. Это была американская «Свиная тушенка», вспоротая трофейным кинжалом с наборной рукояткой, который лежал на скатерти. И желобок для стока крови на клинке был забит белым салом. Дети глотали торопливо, не жуя.

– Малка... Ципора... – поглаживал Моня плечи девочек, а потом повернулся к мальчику: – Ты, Пиня, не спеши – подавишься... У меня еще две банки имеются в запасе... Мамаша... и ты, папаша... Кушайте на здоровье... Почему не хотите?.. Это же американская тушенка, первый сорт!.. Ой, я совсем забыл... Ну, начисто забыл: вы же не едите свинину... Прошу прощения... Ну, что же делать? Где достать для вас кошерное?

И, увидев в дверях Шляпентоха, улыбнулся с извиняющимся видом:

– Вот мой друг... Он может подтвердить... Во всем мире теперь нет кошерной пищи.

Эпилог

Последний раз мне довелось видеть Моню Цацкеса незадолго до конца второй мировой войны. Был март. Таял снег на бетонных автобанах Померании. Аккуратные поля немецких бауэров были под водой. В голых ветвях придорожных вязов удивленно галдели прилетевшие с юга грачи.

На Запад, по германским первоклассным дорогам, двигалась азиатская орда. Русская армия-победительница. В диковинных шапках-ушанках, в измызганных серых шинелях, в допотопных обмотках и кирзовых сапогах. На мохнатых монгольских лошадаках. На трехосных американских «студебеккерах». На исцарапанной осколками брони танков «Т-34». И просто пешком, – без строя, ватагой, – навьюченная пудовыми плитами минометов, ручными пулеметами, трофейными фауст-патронами. С противогазными сумками, набитыми шелковым дамским бельем, с десятком немецких часов на каждой руке – от запястья до локтя. На лафете артиллерийского орудия дребезжало, закрепленное цепями, черное лакированное пианино, оскалив белые клавиши. Скуластые солдаты с блаженной улыбкой растягивали меха перламутровых аккордеонов «Хоннер», и разудалые и тоскливые степные песни плыли над готическими шпилями кирх, над остроконечными кирпичными крышами, над ухоженной и сытой немецкой землей.

Моросил мелкий дождь, когда я остановил свой «виллис» у развилки дорог, чтобы уточнить свой маршрут на КПП. Солдат-часовой на этом узле дорог оказался малый не промах. Чтобы укрыться от непогоды и при этом не нарушить устава караульной службы, он приволок из ближайшего немецкого фольварка дубовый шкаф с резными узорами на распахнутых настежь дверцах, вышиб из него полки и перекладины, вышвырнул все барахло в придорожную грязь и забрался в шкаф во весь рост, как в караульную будку. Большое зеркало на внутренней стороне дверцы давало ему широкий обзор в оба конца, и он не утруждал себя даже лишним поворотом головы.

На часовом были красные американские ботинки, серые обмотки вились спиралью до колен, короткая шинель с черными подпалинами-следами ночлегов у костра – была косо подпоясана брезентовым ремнем, на боку болталась противогазная сумка, где, как ни странно, сохранился противогаз. Над выпущенным на лоб черным чубом с редкими прядями ранней седины торчала зимняя шапка на «поросычем пуху», с одним ухом, задранном вверх, а другим – опущенным вниз. Эти два уха шапки-ушанки, поднятое и опущенное, словно захваченные врасплох на стыке времен года, напоминали о том, что зима уже прошла, а лето все еще не наступило.

На задней стенке шкафа висели на гвозде стенные часы с гирями на цепях и маятником. Каждые пятнадцать минут часы начинали простуженно кашлять, над цветным циферблатом отворялось окошко, откуда высывалась деревянная птичка и издавала хриплое «ку-ку».

Да, это был он – рядовой Моня Цацкес. Он тоже обрадовался мне. И мы принялись болтать, пока рядом нет начальства. Я спрашивал о тех, кого знал еще со времен формирования Литовской дивизии на замерзшей русской реке Волге, а Моня отвечал. Как живой справочник.

– Лейтенант Брехес? Командир минометной роты? Убит... Под Шяуляем...

– Рядовой Фима Шляпентох?... Смешной парень был. Убили... Совсем недавно.

– Старшина Качура? Подорвался на mine. Даже сапог не нашли. Помните, какие у него были хромовые сапожки?

– И политрук Кац погиб... Война не разбирает.

– А помните почтальона? Валюнаса, которого начальство готовило закрыть грудью амбразуру дота, как это сделал Александр Матросов? Он еще в пьяном виде прокусил ухо нашему командиру полка и угодил в госпиталь для психов. Сейчас вспомнили? Вернулся через полгода и погиб... Так и не став Героем Советского Союза...

– И бывшего шамеса нет в живых... И бывшего кантора Фишмана тоже...

– А немец из Клайпеды? Зепп Зингер, урожденный Залман Зингерис? Который был поваром у фельдмаршала Манштейна и продемонстрировал гостям из Берлина

превосходство германской расы? Его взял в повара подполковник Штанько. И оба погибли. От одной бомбы...

И еще сказал Моня:

– Ветеранов, живых, можно по пальцам сосчитать. А дивизия по-прежнему в полном составе. Пополнение наскребли в Литве. Чистые литовцы. Евреев к нам больше не присылают. Кончился запас.

– Знамя полка? А что ему сделается? В целости и сохранности. Бархат почти новый...

Стенные часы за спиной у Мони закашлялись, зашипели, и деревянная кукушка высунула головку из круглого отверстия и прохрипела свое «ку-ку», напомнив, что мне пора ехать дальше.

– Пойдите, у меня к вам один вопрос... – задержал меня Моня. – Вы старше меня, может быть, вы знаете... – Он смутился и стал подыскивать слова. – Допустим, женщина потеряла дар речи и слышит плохо... не от рождения – это несчастный случай... Так дети у нее не будут глухонемыми?

Я удивился, с чего это Моню Цацкеса интересуют такие проблемы. И он пояснил, застенчиво улыбаясь:

– Понимаете... есть один человек... У меня же никого не осталось... Фирочка-Козочка...

– Какая козочка? – не понял я.

– Есть такая. Тоненькая... с зелеными глазами... Она из-за меня пошла в санитарки и поехала на фронт. Но не доехала. Их разбомбило... От контузии она перестала говорить... И с ушами плохо... Фима Шляпентох, пока его не убило, писал за меня письма... Мы искали ее... И нашли... Так вы думаете, что это не отразится на детях?

Я заверил его, что ее контузия не имеет никакого отношения к будущим детям, потому что это не врожденное, а приобретенное...

– Спасибо на добром слове, – улыбнулся Моня, и белые шрамы на его подбородке порозовели. – Так уж, видать, нам на роду написано: раньше я молчал, она говорила. Теперь наоборот будет.

Мы обнялись с Монею. Я поехал к повороту шоссе, оставляя за собой шкаф, переделанный в караульную будку, и плотную фигуру солдата в нем, с круглыми, как у пингвина, глазами.

До конца войны было еще полтора месяца.

Эфраим СЕВЕЛА

Иерусалим, 1977